

Светлана Дроздова



**Механическая
Жар-птица.
Возвращение огня**

Светлана Дроздова

**Механическая Жар-
птица. Возвращение огня**

«Автор»

2026

Дроздова С. В.

Механическая Жар-птица. Возвращение огня / С. В. Дроздова — «Автор», 2026

«То, что нельзя сделать» — финальная глава книги о городе, двадцать лет жившем под гудок и страх. Механик Иван, носивший в себе перо Жар-птицы, проходит путь от держателя к тому, кто умеет отпускать. Вместе с Мариной, кузнецом Ефимом, богатырём Силантием и торговцем Антипом он возвращает свет, украденный Кощеем, — не силой, а отдачей. Сто глав — это сто ступеней: от подземелья до вершины, от «я здесь — держу» до «я здесь — провожаю». Это книга о тепле, которое не у одного человека, а у всех, кто отдал: хлебом, тетрадью, варёжкой, ладонью, молчанием. О том, что свет не берут и не держат — его пропускают. И о том, что по-настоящему — не то, что делают руки, а то, что нельзя сделать: можно только отпустить.

© Дроздова С. В., 2026

© Автор, 2026

Светлана Дроздова

Механическая Жар-птица. Возвращение огня

Глава 76. «Хлеб»

Тишина, которой кончилась предыдущая глава, не ушла.

Но у неё появился хлеб.

Сцена 1. Огородная. До рассвета. Весть

Весть не прошла по городу от рта ко рту.

Весть не ходит от рта ко рту, когда она такая: весть, которой нечем стать сплетней, потому что в ней нет ни чьего имени, ни чьей вины, ни чьей награды. Весть прошла тем третьим — тем же, которым перо тянуло из-под земли двадцать лет, тем же, которым Жар-птица кружила над Огородной, тем же, которым бледная птица за лесом слышала сквозь камень, что ждать больше не в одиночестве. Перо — обгоревшее, холодное, лежавшее на ладони Ивана с той ночи, как лежит у кувшина с трещиной всё, что больше не латают, — гуднуло.

Один раз. Долго. Дорогой.

Не то гудение, которое знал город двадцать лет — ровное, сменное, из труб, под гудки и на гудки. И не то, которое было в амбаре: жар, нота, ответ. Это было другое — как гудит провод, по которому в первый раз пустили ток не туда, где всегда, а туда, где никогда: воздух дрожал не от звука, от направления. И город — тот, который двадцать лет слушал железо, потому что другого голоса не давали, — услышал. Услышал во сне. Услышал в бессоннице. Услышал на кромке, у колодца, у печей, — все, кто был на земле Кошеева города, услышали, не пожелав, что по земле пошло направление.

И направление было — на восток.

А город ответил так, как отвечает город, у которого отняли двадцать лет и вернули одно слово. Он не закричал. Он не сбежался на площадь — площадь стояла пустая и тёмная, как стояла всегда в этот час, и это тоже было правильно. Город начал печь хлеб.

Не по указу. Не по примете. Просто — во дворах засветились заслонки, потянуло закваской, скрипнули квашни, и по переулкам, ещё до рассвета, пошёл запах тёплого теста — тот, которого город не знал двадцать лет, потому что двадцать лет пекли в казённых печах, по казённой норме, и хлеб был казённым, как гудок, как смена, как тишина. А теперь пекли по дворам. Много. Больше, чем съесть. Пекли так, как пекут, когда утром кто-то уходит и не врут себе, что вернётся к обеду.

Весть шла без имени — и это было самое странное, и это было самое верное. Никто не сказал «Иван идёт». Некому было сказать: Иван не говорил. Но узнавание шло к каждому по-своему — так, как расходится по дому свет зари: не через окна — через щели, и каждый

дом берёт столько, сколько может взять, и никто не придумывает себе роли. Кузнец знал, что ковать. Пекарь знал, что печь. Слепой у кромки знал, что стоять. А писарь — писарь просто сел к столу, открыл свою простую книгу за медяки и не знал пока, что писать. Это тоже было узнание: знать, что настанет строка, — раньше, чем строка.

Иван стоял у окна амбара и слушал, как пахнет город.

Он не знал, что всё это — ради него. Он знал только то, что знал с ночи, когда перо легло на ладонь: перо нужно не вернуть. Его нужно отдать. Теплотой. Той, которой легла она — на поле за перевалом, тонко, как иней, — и собрать её нельзя, иней собирает солнце той же теплотой, которой лёг. Не руками. Не инструментом. Теплотой.

— У тебя нет теплоты, — сказала Марина.

Она сказала это ночью, проверяя расчёт, как проверяют расчёт: не споря — ища ошибку. Ошибки не нашла. Ошибки не было. Была правда, и правда стояла между ними до самого утра, как стоит третий, который не спорит, а ждёт, что с ним сделают.

И теперь, за окном, город пёк хлеб.

И в этом пении печей было то, чего не было в расчёте: теплота — не только та, что у одного человека. Теплота — у тех, кто отдал. И город, который научился отдавать — водой у кромки, хлебом на рогоже, «не жмите, не давите», — пёк её всю ночь, двором за двором, и к рассвету она была готова так же, как бывает готова печь: её нельзя взять раньше срока, но нельзя и пропустить, когда она дошла.

Сцена 2. Горн. Ефим куёт не держатель

Ефим вышел к горну до рассвета.

Кузня была дедовская — за садом, за старым вязом, у самой межи. Её не топили двадцать лет. Двадцать лет она стояла, как стоят вещи, которые не осмеливаются открыть: мешок угля, заросший в пыль; клещи на стене, обтянутые ржавчиной там, где рукоять стёрлась до дерева; наковальня, в которую дед вбивал вены правды так же, как вбивают гвозди, — до самой головки, чтобы не дёргалось. Двадцать лет Ефим ковал не здесь. Двадцать лет Ефим ковал по чертежам Кощея — тем, с кровью на полях, — и знаешь, что такое ковать по чертежам с кровью на полях? Это ковать то, что будет брать. Каждый паз — под то, что будет в паз входить. Каждый зажим — под то, что будет в зажим попадать. Двадцать лет руки Ефима умели делать держатели. И двадцать лет в дедовской кузне стояла наковальня, которая ждала.

Теперь она ждала недолго.

Ефим разжёл горн — уголь загорелся так, как загорается то, что ждало: не споря, целиком, с первого дыхания. Он вынул из-под верстака заготовку — латунь, старая, ещё дедова, шина такая, что её двадцать лет не брали в дело, потому что она была «на житьё», а не на смену, — и положил на наковальню.

И молот — дрогнул.

Первая удар. Он вышел мимо. Не криво — мимо, как выходит слово, когда горло держит то, что надо сказать, а рот говорит другое. Ефим отнял молот, положил руку на заготовку — просто положил, как кладут руку на плечо того, кому трудно, — и стоял так, сколько стоять мог кузнец, у которого руки умели всё, а теперь учились одному.

Потом ударил.

И пошло.

Он ковал то, что нужно на дороге. Он знал это телом раньше, чем решил головой: не футляр. Не оправу. Не клетку. Не держатель — двадцать лет он ковал держатели, и в каждом держателе была одна и та же арифметика, которую он выучил у Кощея, по чертежам с кровью на полях: взять, зафиксировать, чтобы не могло уйти. Ковать это умели все. Не ковать это не умел никто.

Он ковал подпорку.

Открытую рогульку — три зуба, расходятся вилкой, раструбом, как раскрывается рука, которая держала и отпустила. Три зуба — не в глубину, в ширину: перо ставят между, и зубья не смыкаются, зубья — только стоят. Рогулька, на которую перо ставят, чтобы нести, — не держать. Нести. Разница была в одной детали, и деталь была на вес всей кузни: у рогульки не было дна. Не было площадки, на которую то, что положат, легло бы и осталось. Была дуга — опора, — и перо лежало бы на ней, как ложится то, что живое, на ладонь: не потому что не может встать, потому что ладонь стоит.

Ефим ковал до света.

Он оттянул зубья, развёл их вилкой, перековал сгиб — и сгиб вышел не чертежом, а тем, что рука знала, но никогда не вела: двадцать лет он ковал по чертежам, а теперь впервые ковал по живому. И — надо записать это ровно, потому что это всё — живое знал закон круга. Отдача без возврата — расход. Двадцать лет он держал это в руках — в иголках, в вёдрах, в хлебе, который раздавал у кромки, — и не знал, что знает. А теперь, когда он ковал то, чем Иван понесёт перо на ладони, — закон круга вошёл в металл. В сгиб, в вилку, в отсутствие дна. Отдать то, что несёшь, эта вещь не мешает. Эта вещь не умеет мешать — она не умеет держать.

Пелагея пришла к рассвету — принесла ковш воды, как приносят воду, не спрашивая. Увидела рогульку — и не спросила, что это. Она знала. Пелагея, жена кузнеца, знала вещи тем третьим, которым не знал кузнец: она увидела рогульку и поняла, что муж отковал за ночь не вещь — выход. Кому — она не спросила. Она ушла обратно к квашне, и тесто в квашне дышало, и это было всё, что нужно знать женщине, у которой руки всю ночь были раскрытыми.

Ефим положил рогульку на верстак — на чистую тряпицу, как кладут то, что готово, — и сказал в кузню, в остывающий горн, в утро, которое было уже не темнотой, а тем, что идёт после:

— Держатель берёт. Подпорка — только стоит.

И это была вся его речь. Больше не было нужно.

Сцена 3. Хлеб. Пелагея

Пелагея замешивала тесто до рассвета.

Тесто было то, из которого в этом доме пекли всегда — из закваски, которая жила в квашне двадцать пять лет и которую возили в городе только три раза: когда переезжали, когда болели, когда помер первый. Закваска — это не вещь. Это — память, которая умеет дышать. Её нельзя взять, нельзя купить, нельзя отобрать: можно только накормить — и она накормит. Двадцать пять лет Пелагея кормила её мукой и водой — каждое утро, раньше гудка, раньше смены, раньше всего, что приказывало городу жить, — и закваска поднималась. Всегда поднималась. И в этом «всегда» было то, чего не было больше нигде в городе, кроме, может быть, книжки Марины: что-то, что не прерывалось ни на один день. Что-то, что не было казённым. Что-то, что жило.

Пелагея мяла тесто — и руки её были те самые, которые сон показал раскрытыми над полем: она не знала этого сна, потому что спала не она, спал город, а руки её знали, что раскрыты. Руки часовщицы держат, руки кузнеца держат, руки писаря держат перо, — а руки Пелагеи всю жизнь были рукам, которые кормят. И кормить — это то же, что отдавать: только без драмы, без свечей, без круглого счёта. Просто — каждый день. Просто — так, как дышат.

Она испекла первый каравай раньше, чем встало солнце.

Она испекла его — не для дома. Она не сказала этого ни Ефиму, ни себе: руки знали раньше головы, как знает рука, что тесто дошло, — не по часам, по ладони. Каравай вышел круглый, с той коркой, которая не звенит и не крошится, а держит, — и Пелагея положила его в узел, льняной, старый, в котором когда-то носили зерно на помол, — и завязала узел тем узлом, которым не вяжут на сохрани, а вяжут на дорогу: чтобы развязать можно было одной рукой, когда вторая занята тем, что важнее.

И сказала одно.

Она сказала его не Ивану — Иван ещё не пришёл. Она сказала это узлу, горбу, дверям, двору — всему тому, что слушало:

— Ешь — и отдавай. На дороге всё, что не отдашь, — мёртвый вес.

И в этой фразе была вся её часть — вся её работа, вся её доля, вся её ставка в том, что теперь решала не она и не кузнец, а тот, кто пойдёт. Она не воевала. Она не измеряла. Она не писала строк. Она кормила — и в этом «кормила» было всё то, чего не умели ни часы, ни чертежи, ни гудки: превращать теплоту в то, что можно нести, и нести так, чтобы оно не кончилось, потому что то, что отдаёшь, не кончается, а то, что держишь, — кончается всегда.

А по городу, между тем, шёл запах.

Запах теста, печей, корки — по переулкам, по дворам, мимо погребов, мимо кромки, мимо того места, где стояли возы приезжих и где стояла тишина, которая умеет ждать побумажному. Приезжие, которые ждали смены по гудку, — проснулись от запаха и не поняли,

что это. Они не знали запаха хлеба, который пекут не на смену. Они записали его в опись — «запах, не классифицировано» — и это была первая строка, которую они не смогли измерить.

Сцена 4. Сборы без сборов

Иван не собирался.

Это надо сказать прямо, потому что «собираться в дорогу» — это вещь, которую город понимал двадцать лет одним способом: взять. Взяли — чертежи, взяли — перо, взяли — город, взяли — и держатель строили, чтобы взять получше. Дорога, которую надо собрать вещами, — это дорога того, кто идёт брать.

Иван не брал.

Узел стоял у двери амбара — тот самый, Пелагеин, — и лежал в нём не то, что нужно, а то, что было отдано. Хлеб. Варежка с двумя пальцами — расстёгнутая, старая, связанная женской рукой так давно, что пряжа стала не цветом, а памятью, — та самая, которую Антип поднял с мостовой в час давки, с тем чемоданом, с тем стариком, у которого было полсекунды на мысль «не растоптать бы». Антип пришёл до рассвета — пришёл не потому, что знал, зачем, а потому что рука сама принесла: двадцать лет он носил эту варежку, не зная, что с ней делать, и делал одно — носил. Теперь он положил её в узел.

— Она не моя, — сказал Антип. Он сказал это тем голосом, каким говорят то, что проговорили про себя тысячу раз: — Она того старика. Пусть идёт с тобой. Может, там, за перевалом, её узнают.

И — не взял ничего взамен. Впервые за двадцать лет. Впервые так, как понимают торговцы, что торговля кончилась не потому, что нечего продать, а потому что есть вещи, за которые не платят, — и это не значит, что они ничего не стоят. Это значит, что они стоят больше всего, чем можно взвесить.

Потом пришёл Ефим — с рогулькой. Положил на верстак, рядом с узлом. Не протянул в руки — положил: то, что делают с вещью, которая не прощает торопливости. Иван взял её позже — и латунь была тёплой от горна, тёплой так, как бывает тёплой вещь, которую ковали не для продажи и не для службы, а для одной-единственной дороги.

Ничего для себя Иван не взял. Ничего.

И вот тогда — Марина.

Марина стояла у верстака и смотрела на узел. Она пришла с книжкой — с той, в которой было всё: измерения, таблицы, «не перегрев. Ответ», «Развилка», строки, которые были определениями, а не цифрами. Она смотрела на узел — и в этом взгляде было то, что она проверяла всю ночь и что расчёт не решал: идти или остаться.

Она могла пойти. Она умела дорогу — она двадцать лет ходила дорогой, по которой не шли, по чертежам, по подземелью, по тому, что не имеет протоптанного. Она могла идти рядом — и руки её умели держать то, что держат: рычажок, стержень, конец.

Но в том-то и был расчёт, который она сделала над ящиком, в подвале, у колодца, — тот расчёт, который он решил не с теми словами, которые она вписала в книжку. Она не может удержать Ивана. Удержать — это его способ. Она может только одно: быть наверху. Открытой дверью. Свидетелем.

Свободе нужно дойти.

И ей — тоже.

Она не спорила. Это было самое трудное — не спорить, потому что спор был её ремеслом: не спорить с расчётом, не спорить с собой, не спорить с той строкой, которую она вписала в книжку после того, как оба света замерли и всё было решено не рычажком, а птицей. Она открыла книжку — ту, которая была её памятью двадцать лет, — и перелистала к той части, где лежали измерения дороги: наклон старого хода, где кромка тоньше, где камень держит тепло и где тепло уходит в землю. Всё то, что она измерила за зиму, когда измерения были её единственным способом держать то, что нельзя было держать руками.

Она переписала это на отдельный лист.

Аккуратно, столбиком, тем почерком, который не выдаёт того, кто пишет, — и на том листе, между столбцами, была одна графа, которую она заполнила не числом. Она поставила тире. То самое тире, которое знало, как говорить: дальше — не в этой графе. Дальше — на дороге.

Она сложила лист — вчетверо, как складывают то, что несут близко к телу, — и протянула Ивану.

— Книжку я оставлю себе, — сказала она. Голос был ровный. — Так, как оставляют очки тому, кто смотрит без них.

Иван взял лист. И — он не сказал «спасибо», потому что не умел. Он положил лист в узел — рядом с хлебом, рядом с варёжкой, рядом с рогулькой, — и узел стал тем, чем он был: не мешком с вещами, а мешком с тем, что отдано. И то, что отдано, — не имеет веса. То, что отдано, — легче воздуха.

Марина осталась стоять у верстака. Она не заплакала. Часовщики не плачут — не потому что не могут, а потому что плачут те, у кого есть время на слёзы, а у неё не было времени: у неё была работа, и работа была та, которой нет в таблицах, — быть наверху. Открытой дверью. Свидетелем.

Сцена 5. Силантий. Кто останется стеной

Силантий подошёл — и не сразу сказал.

Он подошёл так, как подходят богатыри: без звука, потому что богатырь не тот, кто приходит громко, — тот, кто приходит, и уже стоит, и уже всё. Он встал у двери амбара, на том самом распашном крюке, который держал дверь открытой все эти месяцы, — и дверь была открыта, и крюк держал, и это было всё, что Силантий умел говорить телом: стена, у которой есть дверь.

Потом он посмотрел на восток.

Долго.

Так, как смотрит тот, кто знает, что идти не может, — и не жалуется на это, потому что богатырь не жалуется на своё тело, как не жалуется на свой меч: тело и меч — это то, чем ты стоишь, а не то, чем ты стоишь над. Дыхание его было с хрипом — тихим, ровным, выученным, тем, которое не показывает, а только помнит: тело его кончилось в бою у ратуши, тогда, когда он встал стеной и стена приняла то, что должна принять, и отдала то, что должна отдать. Он ходил с тех пор — ровно, медленно, как ходят те, у кого внутри всё срослось, но не так, как было. Он мог идти. Он не мог идти — далеко.

И он знал это так же точно, как знал закон круга Ефим: не по книгам — по телу.

Он положил ладонь на плечо Ивана.

Ту ладонь — обгоревшую, забинтованную Пелагеиными бинтами, тонкими, намотанными не от беды, а от привычки к беде, — и в этой ладони была вся его стена. Не сила. Сила была в нём и раньше — и уходила, и возвращалась, и снова уходила, и он знал теперь её цену так, как знает цену тот, кто платил. А в этой ладони была не сила. Было то, за что он стоял все эти месяцы: не чтобы закрыть — чтобы было куда. Стена, у которой есть дверь.

И он сказал — тихо, без нажима, как говорят то, что проговорено тысячу раз про себя:

— За перевалом не в кого будет вернуться. Стена нужна здесь — у открытой двери.

И это была не отговорка. Это была правда, выношенная всю ночь, пока он сидел на чурбаке у горевшего не огнём амбара и слушал, как город пёк хлеб. Правда была такая: если он пойдёт — стена кончится. Не потому что он упадёт на дороге — потому что здесь, в городе, который останется один на зиму, с приезжими, с узором, с тем, что шевелится в тёмных трубах, — здесь будет нужно то, что умеет только он: стоять. И он умел это лучше, чем умел идти.

Меч висел в ножнах.

Как висел всегда — когда врагов не было, а были те, за кого стоят. И Силантий не снял его с пояса, чтобы вложить в руки Ивану, и не взял с собой, и не отдал: меч был его ремеслом так же, как была его стена, — и ремесло не передают. Ремесло оставляют тому, кто останется его делать.

Он простился так, как прощаются богатыри: не словами.

Он положил ладонь — и отнял.

И отнял так, что понял бы тот, кого учили ходить: ладонь, которая отнимается, — это не конец держания. Это — доверие тому, что пойдёт само.

Сцена 6. Тень Кощея. Своё напутствие

Под городом — было ровно.

Ток шёл по старому ходу — ровнее, чем шёл всегда. Не рвался. Не тянул. Не дёргался по узорам, по коже, по воде в затопленных углах. Он шёл так, как идёт река, у которой отняли мельницу: не переставая, но уже не для тех, кто стоял у колеса. И в этой ровности было то, что не назовёшь ни гневом, ни покоем, — это было ожидание, которое научилось не быть голодом.

И Кощей — сказал.

Не так, как он умел двадцать лет: через гудки, через смены, через указы, через зелень под кожей. Он умел приказывать — и приказывал, когда это было всё, что было нужно, и всё, что было возможно. Теперь приказ не шёл. Шло — напутствие.

Через трубы. Через железо. Через камень, через фундаменты, через всё, чем он был, — тем беззвучным способом, которым мёртвое говорит с живым, когда мёртвое решило, что говорить словами больше не имеет смысла, потому что живое уже всё услышало.

— Иди, — шло через железо. — Дорога длинная. Возвращайся в графу — графу помнит своих.

И в этих словах не было угрозы.

Вот что было страшнее всего — и надо записать это ровно, потому что это всё: угрозу можно было бы принять как угрозу, угроза имела бы форму, край, цену. А здесь не было ни формы, ни края, ни цены. Здесь было — уверенность. Тихая, двадцатилетняя, выношенная в темноте, под свинцом, под камнем, под тем, что город считал дном, — уверенность того, кто умеет ждать и научился ждать дольше всего на свете. Голод умеет ждать. Голод ждал весну двадцать лет. Голод не боится дороги — голод знает, что все дороги кончаются там, где он стоит, потому что он и есть то, что стоит в конце всех дорог, которые ведут «взять».

Кощей ждал ученика.

Не еду. Не перо. Не то, что можно взять и удержать. Ученика — того, кто умеет соединять живое с железом, того, чьи руки он сам обучил чертежами с кровью на полях, — и в этом ожидании была та надежда, о которой Кощей не знал. Он не знал, что это называется надежда. Он не знал, что то, что он ждал, может быть названо — словом, которое живое знает с детства и которое никогда не записано в чертежах. Он думал, что это — расчёт. Расчёт сходился: ученик пойдёт, дорога его вернёт, всё, что растёт, возвращается к тому, кто посадил. И в этом расчёте было то, чего он не считал: надежда — это то, что делает того, кто надеется, слабым. Не к тому, чтобы отдать. К тому, чтобы — дожидаться.

А по трубам, в том же ровном токе, — было то, чего Кощей не слышал.

Савелий Прохоров стоял у стены — у той, которая держала трубы, — и ладонь его лежала на железе. Он не отнял её. Он не отнял её с той ночи, когда услышал новый голос в своих машинах, — и теперь слышал опять. Ток шёл под ладонью — ровный, глубокий, и в нём было то, чего он не знал ни в одном гудении, которое знал двадцать лет: не сытое, не жадное, не зовущее. Ждущее. Так течёт вода в трубе, когда труба ждёт, что по ней пойдут, — не с напором, с готовностью.

И в этом «ждущее» Савелий Прохоров услышал то, что было его — дальше. Он не знал, что это. Он знал только, что руку не отнял. И не знал, хочет ли.

А далеко, за лесом, над полем, над тонким слоем света, который не собрать и не убить, — бледная птица подняла голову.

Она не слышала слов. Она слышала тем третьим, которому не нужны ни звук, ни свет: сквозь камень, сквозь свинец, сквозь всё, чем был Кошей, — что-то под городом перестало быть одиноким. Что-то под городом перестало ждать одного.

И в этом «не одного» было всё, что она знала о том, кто пойдёт.

Сцена 7. Гордеев. Узор на развилке

Узор не дёргался всю ночь.

Это надо записать ровно, потому что дёргается — то, что боится. Узор, который шёл по руке Гордеева, по его коже, от пятна к пальцам, тонкими зелёными жилками, как разводы ртути под кожей, — не дёргался. Он лежал тихо, как лежит память, как лежит то, что уже не тянет, а помнит, что тянуло. И в этой тишине Гордеев стоял у кромки и не знал, что делать с тишиной: двадцать лет он жил по узору — узор дёргался, узор тянул, узор шёл по нему, как шло то, что ждало под заводом, — и теперь узор молчал.

А под утро — дёрнулся.

Один раз. Тонко. Не так, как дёргает поводок тот, кто хочет удавить, — так, как дёргает тот, кто напоминает: ты здесь. Ты посередине. Ты — тот, через кого проходят оба света, и это — анатомия, а не выбор.

Гордеев встал.

Он стоял у кромки, там, где зелень встречалась с мостовой и обтекала круг, как вода обтекает камень, — и делал выбор, который нельзя посчитать. Он умел считать. Он умел считать всё: накладную, опись, цену, выгоду, кривизну русла, вес узора. И в этом выборе не было ни одной цифры, потому что выбор был такой: идти проводом — или стоять между. Идти проводом — это идти за тем, кто пойдёт, и узор дёрнется на перевале, и ток пойдёт по нему, и он будет тем, через что проходит. Стоять между — это быть медиатором: тем, через что проходят две струны, когда обе звучат.

И он выбрал третье — то, чего не было ни в одной графе.

Он выйдет на дорогу — на полквартала за Иваном. И пойдёт сзади.

Не провод. Не стена. Не препятствие и не поддержка — посередине. Медиатор идёт посередине. Если узор дёрнется на перевале — он провод, и это будет его расплата, и он пойдёт в неё сам, потому что плата за то, что носил, всегда своя. Если узор не дёрнется — он тот, кто посередине, и посередине будет стоять до того, как дорога кончится или не кончится.

Он не знал, зачем. Это было первое, что он не мог посчитать, — и в этом «не мог» было всё то, что он двадцать лет искал в таблицах и не находил: то, что делают не по расчёту, делают потому, что иначе нельзя.

А у кромки, на своём месте, — сидел писарь.

Каллистрат открыл свою простую книгу — за медяки, не казённую, — и смотрел на графу «кого». В графе стояло одно имя: «Иван». Рядом, в графе «сколько», стояло тире — старое, двадцатилетнее, единственная цифра, которая говорила «не пересчитывать». Под тире — ещё одно, из последней ночи. А под именем, из последней ночи, — слово, которого в казённых книгах не бывало никогда: «Пойдёт».

Каллистрат смотрел на «Пойдёт» — и не знал, что писать теперь.

Он смотрел долго. Он смотрел так, как смотрит тот, кто всю жизнь писал то, что уже случилось, и впервые имел перед собой то, что не случилось, а будет. И он понимал, что строка «Пойдёт» — не последняя. Он понимал это тем местом, которое у писарей не в графе, а где-то между графой и рукой: у дороги, по которой пойдёт тот, кто пойдёт, — будет вторая строка. Не «сколько». Не «куда». Другая — та, которую казённая книга не знает и потому не боится.

Он обмакнул перо. Подвёл вторую строку — под именем «Иван», под словом «Пойдёт», — и написал тем же ровным почерком, который не выдаёт того, кто пишет:

«Сзади».

И не знал, зачем. Он записывал всё, что видел. А видел он то, что было: человек с узором на руке, который вышел на дорогу — не впереди, не рядом, сзади, — и не знал пока, кем он будет на этой дороге, и дорога тоже не знала.

Сцена 8. Кромка. Контракт и то, что смотрит

Утро пришло — и гудка не было.

Приезжие пришли к кромке за сменами — по гудку, как было написано в контракте: контракт, который они привезли с собой, в возах, в железных ящиках, в той бумаге, которая стоит дороже того, что нельзя пересчитать. Контракт обещал гудок. Контракт обещал смены. Контракт обещал тот порядок, который они понимали: работать — по звуку; отдыхать — по звуку; жить — по звуку. И звука не было.

Они стояли у кромки и ждали.

Приезжие умеют ждать — это было в них с той минуты, как они выгрузили возы: они ждали измерить, ждали описать, ждали того часа, когда источник, который «читает сам себя», станет строкой в их описи, и строка будет длиннее всего, что они писали. Они ждали — терпеливо, как ждёт камень. И теперь, когда гудка не было, они не разошлись. Они стояли и ждали, что гудок будет, — потому что контракт обещал, а контракт в их мире был тем же, чем в этом мире была тишина: тем, что стоит и ждёт, и это хуже любого гонится.

И Капитоныч ответил им тем, что узнал.

Он стоял у своей рогожи — слепой, лицом к солнцу, как стоял всегда, потому что слепые не боятся света, слепые боятся темноты, а темнота у кромки была та, из которой они вышли. Он услышал их ожидание — оно шло от них, как идёт от железа холод: не звуком, отсутствием. И он ответил — конторским тоном, ровным, слово в слово, тем, который выучил за те дни, когда они требовали его показаний:

— Смены не будет. Гудка не будет. Приказ кончился.

— Какова единица измерения? — спросил старший из них, тот, который учил язык по чертежам, а не по людям.

— Свет — свой, — сказал Капитоныч. — Цена — тоже свой.

И они замолчали.

Они подняли приборы — те, с нитью, те, с копчёным стеклом, те, которыми измеряли тень пера и отпечаток тепла на камне. Приборы не работали. Не потому что сломались — потому что нечего было измерить: то, что теперь шло по кромке, не было ни теплом, ни тенью, ни звуком. Это было то, что отдаётся, — а отдающееся не имеет единицы измерения. Единица измерения есть у того, что можно взять.

И в этой паузе — во второй половине утра, когда солнце встало над кромкой и тени легли от кромки в сторону города, — в тёмных трубах, в изгибах, куда свет дотягивался хуже всего, — шевельнулось.

Смотрящие.

Они не шевельнулись так, как шевелится то, что выходит. Они шевельнулись так, как шевелится то, что проснулось: без звука, без направления, той массой, которая лежала в изгибах все эти месяцы — там, где узор не доходил, там, куда ток не шёл, потому что ток шёл только туда, где ждали. Смотрящие не ждали. Смотрящие смотрели. И теперь, когда ведущий уходил — тот, чья рука держала кромку, тот, кто ставил гудок, — они шевельнулись, потому что узнали то, что узнаёт всякое, что смотрит: надзор отошёл.

Ведущий уходит — значит, придут те, кто смотрит.

И это была вторая угроза — та, о которой не говорили на площади, потому что не знали, как назвать. Кошей был голодом, и голод умели понимать: голод ждёт, голод зовёт, голод обещает дом. Смотрящие не звали и не ждали. Смотрящие смотрели — и от их взгляда не было ни дома, ни обещания, ни дна. И город, который оставался один на зиму, оставался теперь не один: с ним оставалось то, что смотрит.

Город остался без пера. Со стеной — но без пера.

И Капитоныч, слепой, не знал этого — он не мог видеть. Но он знал — тем третьим, которым слепые знают то, чего не видят зрячие: что у кромки стало больше того, что не его. Не приезжих. Не горожан. Не железа. Того, что не имеет ни имени, ни цены, ни строки в описи, — и стоит за изгибом и смотрит.

Он не сказал об этом никому.

Он положил на рогожу ещё один каравай — тем движением, которым клали у кромки всегда: не для себя — для того, кто подойдёт. И — надо записать: он положил его той стороной кромки, где тьма была гуще всего. Не потому что знал. Потому что руки, которые всю жизнь кормили, знают раньше головы, где голоднее всего.

Сцена 9. Выход. Тире

Рассвет был ровный.

Не багряный снизу, как приходил тот, который встал не там, где должен, — тот свет горел в памяти города отдельной строкой, и город не путал. Этот был простой: серый на востоке, который становился золотым, как становится всё то, что ждёт света и получает его без чуда. Просто утро. Просто — время.

Иван вышел.

Не через площадь — через город. Так, как нёс мёртвую птицу: по тем же улицам, мимо тех же домов, мимо той лавки, где Антип стоял с пустыми руками, мимо того двора, где вдова с сыном смотрели вверх и не прятались. Он нёс узел — на плече, по-дорожному, низко, — и узел не тянул, потому что в узле было только то, что отдано.

Город не кричал.

Город молчал по-новому. Двадцать лет молчание было тем, что давали — приказом, гудком, тишиной в трубах, тем, что нельзя было разбить. Теперь молчание было тем, что выбрали: сто домов на Огородной, на Заводской, на тех улицах, которых не было на казённых картах, — сто дворов, которые пекли всю ночь, — стояли у своих калиток и молчали. Не от страха. От того, что бывает, когда то, что скажешь, будет меньше того, что чувствуешь, — и лучше молчать.

И Иван шёл — и каждому, кто протянет руку, — отдавал.

Хлеб — тому, кто стоял с пустыми руками. Воду — тому, кто вышел с ведром и не дошёл до колодца. Слово — тому, кто не просил слова, а только смотрел, как смотрят на того, кто уходит, и не знают, вернётся ли. Он отдавал не по счёту, не по описи, не по той арифметике, по которой город жил двадцать лет. Он отдавал так, как отдают те, кто понял одну вещь, — ту, которую Кощей знал и не понял, которую писарь вписал в графу, которую слепой сказал конторским тоном: всё, что не отдашь, — мёртвый вес.

И к краю города узел был легче, чем был.

Теплота не у него.

Она — с ним.

Это надо записать ровно, потому что это всё, что было в этой главе, и всё, что будет в следующих: теплота не берётся и не носится. Теплота идёт рядом — как идут те, кто отдал: Пелагея — квашнёй, Ефим — рогулькой, Антип — варёжкой, Марина — листом, Силантий — ладонью, которая отнялась, город — молчанием. Теплота — не то, что у одного человека. Теплота — то, что есть у тех, кто отдал. И в этом — весь расчёт, который Марина не смогла сделать, потому что расчёт был не в ней.

У кромки — Марина открыла книжку.

На пустой странице — той, после которой ничего не было, потому что всё, что было, уже было вписано, — она написала одно слово. Не измерение. Не определение. Не строку с тире. Слово:

«Идёт».

И закрыла книжку — не торопясь, как закрывают книгу, которую дочитали до того места, где дальше пишет не автор, а время.

В поле за перевалом — иней лежал тонко.

Так, как лежит то, что легло той теплотой, которой легло: не коркой, не коростой, не тем, что убивает траву, — тем, что ложится на всё живое ровно, как одеяло, и держит то, что под ним, до той минуты, когда солнце возьмёт своё обратно той же теплотой. И поле это не было мёртвым. Поле это было — ждущим.

И бледная птица подняла голову.

Второй раз за утро — тем третьим, без звука. По дороге, которая шла от города к перевалу, шёл тот, кто умеет отдавать до конца. Она не слышала шагов. Она не видела фигуры — полдня пути лежало между ними, лес, камень, всё, что не видно. Она знала.

Так знает то, что живое, — не ушами и не глазами.

И — тире.

Тире, которое говорило не «не пересчитывать» и не «дальше — не в этой книге».

Тире, которое говорило: дальше — на дороге.

Конец главы 76.

Глава 77. «Летающий аппарат»

Сцена 1. Огородная. Руки без дела

Тишина, которой кончилась глава семьдесят шестая, не ушла.

Но у неё появился скрип.

Скрип шёл из амбара — тонкий, ровный, как идёт рубанок по сухой доске: шаг, пауза, шаг. Город, который научился за двадцать лет различать все звуки до последнего — гудок смены, скрип рельсы под вагонеткой, свист пара из свистка, — этого звука не знал. Звуков работы в городе давно не было: работа шла под гудок, а гудок не скрипел. И потому скрип стоял над Огородной, как стоит первый снег на том, чего не ждали, — и к нему выходили слушать. Просто слушать. Не потому что было любопытно. Потому что двадцать лет не было звуков, за которыми не стоял приказ.

Внутри амбара горела лампа — жёлтая, обычная, мёртвая. А света в амбаре было столько, сколько нужно для работы, и шёл он не от лампы.

Иван стоял у стола.

Руки его были заняты — впервые за много дней, и это надо написать ровно, потому что руки без дела — это было его бедой, его тишиной, его «нечего держать», — и теперь руки имели дело. На столе лежали чертежи. Не новые — старые, Кошечевы, те самые, с кровью на полях, вынутые из подземелья в первые дни. Ефим держал их на свете кромки, пока город ходил мимо, — и чертежи лежали теперь на столе лицом вниз, потому что читать их больше было не нужно: нужно было понимать, от чего они построены. А на чертежах лежала тетрадь. Тетрадь Ефима. Открытая на той странице, где в графе «минус три и три десятых» стояло то, что горело на табло в ночь перед кромкой. Графа была потёртая. Пальцы ходили по ней часто.

— Земля — его, — сказал Ефим. Он говорил не Ивану и не Марине. Он говорил столу, чертежам, тетради — тем вещам, которые слышат, когда говорят главное. — Земля — его. Дороги — его. Трубы — его. Фундаменты — его. А небо — ничей.

И это была не метафора. Это была выкладка.

Узор шёл по земле — по трубам, по швам мостовой, по фундаментам, по тому, что лежало и держало. Тень пера научила город, что свет идёт по тому, что смотрит. В воздухе смотрящих не было. В воздухе нечего было взять — воздух не лежал, воздух не держал, воздух не имел фундамента. Двадцать лет Кошей строил то, что лежит. И то, что лежит, он умел дотянуться. А то, что висит, — не умел: не потому что не хотел. Потому что не строил. Голод не учится тому, чего не видел.

— Значит — небо, — сказал Иван.

Он сказал это тремя словами, как умел говорить самое главное. И перо — услышало.

Перо висело над раскрытым гнездом — оно висело так с той ночи, когда хрусталь раскрылся сам, и никто из них не тронул его, и никто не снял, и никто не посмел. Перо гудело. Тихо, ровно, тем самым гудением, которое шло не в уши — в то, третье, которым живое узнаёт живое. И вдруг гудение изменилось.

Не выросло. Не углубилось. Оно — повернулось.

Так поворачивается нота, когда её кто-то окликнул. Один раз — коротко, тем окликом, каким перо сказала «мама» сквозь свинец, когда Гордеев нёс ящик по подземной дорожке.

Теперь оклик шёл не к матери — он шёл к столу, к чертежам, к меди, к стружкам. К тому, что делали руки. И нота, которая была памятью, стала — чертежом.

Марина подошла. Посмотрела на перо — перо не смотрело на неё, перо не имело глаз, но гудение лежало на столе так, как лежит рука того, кто указывает. Она взяла карандаш. Открыла книжку — на чистую страницу, не на прежние, где стояли «не перегрев. Ответ» и «не знаю где», — и стала писать. Не ноты. Строками.

«Оно подсказывает».

И внизу страницы, мелко, там, где не читают:

«Оно — дороже нас. Мы — те, кто держит тетрадь».

Сцена 2. Корзина. Из чего строят

Строили из того, что город не растаскивал.

В городе ещё оставалось железо — с палого завода, с рельсов, с обручей, со стропил тех амбаров, что простояли двадцать лет и не простояли бы дольше. Но железа хватало всюду, и город брал его всюду. А здесь было другое.

Первым — осколки.

Хрустальные осколки гнезда — те, что лежали на дворе с той ночи, когда хрусталь раскрылся, — лежали до сих пор. Их не растаскивали: город научился за эти дни одному, не убирать то, о чём нечего врать. Осколки лежали на земле, на стружках, у крыльца, — и все, кто ходил мимо, смотрели на них и проходили. Проходили потому, что не знали, что делать с тем, что осталось, — а было в осколках то, что знала Марина.

Она знала с той строки, которую вписала после разговора двух птиц, когда перо висело между багряным и зелёным и механизм заговорил первым:

«Отражение держит свет, который проходит мимо».

Марина взяла осколки. Не собрала — взяла, как берут родню: обеими руками, каждый отдельно, на ладони, поворачивая к свету. Свет кромки ложился в хрусталь — и хрусталь отдавал его не сразу: держал на волос, на четверть вдоха, и в этой четверти было всё. Отражение не пропускало. Отражение — держало.

— В борт, — сказала она. — И в парус.

Антип, который стоял рядом с накладной в руках — накладной, в которой графы уже не сходились с тем, что делали руки, — спросил. Торговец спрашивал по-торговому, потому что другого языка у него не было:

— В борт? А зачем борту — стекло?

— Не стекло, — сказала Марина. И показала: положила осколок на доску борта, туда, где лежал кожаный прокладочный шов, — и осколок лёг в шов, как ложится всё, что вырезано по размеру, если размер верный. — Корка. Аппарат будет нести своё отражение. Отражение будет держать тепло, которое проходит мимо.

И это было всё объяснение. Больше не требовалось: в этом городе к этому времени перестали спрашивать «почему» там, где работало «так». Почему хлеб лежал даром и его брали — не спрашивали. Почему вода шла в обе стороны — не спрашивали. Почему перо висело — не спрашивали. Спрашивали только о том, что можно посчитать. А это не считалось.

Строили из того, что держало раньше.

Обручи — с бочек, которые привезли те, кто не торговался. Стропила — из тех, что держали крышу, пока крыша была. Кожаные прокладки — вырезанные из старого ремня, из того самого, что держал Ефим двадцать лет у горна и что держало там, где металл рвался бы. И парус.

Парус шила Пелагея.

Рогожа лежала на столе на мостовой — на той самой, из-под корыта, — и Пелагея шила на крыльце, у окна, в золотом свете, который шёл из амбара. Шов её был тот самый: шаг, пауза, шаг — ровный, с тем стежком, которым шьют то, что должно держать на себе вес. Шитьё вернулось к рукам — руки вернулись к шитью, — и в этом возврате не было гордости и не было счёта. Была работа, которая знает, для чего.

А перо — то, что лежало под брюхом корзины, — было не золотое.

Обгорелое пёрышко.

То самое, которое лежало на мостовой у сторевшего дома, на кромке жара, — маленькое, чёрное по краю, серое внутри, — которое никто не взял, потому что никто не знал, что делать с тем, что осталось. Его принёс сын вдовы.

Он пришёл к амбару — сам, не с матерью, не по зову, некому было звать, — и нёс его на раскрытой ладони, как несут то, что может улететь. Подошёл к Ивану. Положил на стол, рядом с чертежами, — и сказал то, что говорят дети, когда говорят то, что взяли у них взрослые, а вернуть надо взрослым:

— Это с кромки. Оно тёплое.

И оно было тёплое. На волос — но тёплое. Оно не остывало ни в тот день, ни на другой, и Ефим проверил это тетрадью, и тетрадь сходилась: пёрышко держало тепло так, как держит то, что ещё живо.

Марина против него была.

Не словами — руками. Её руки знали держатели: двадцать лет они строили держатели — клетку для пера, гнездо, свинцовый ящик, все, что держит, не спрашивая. И рука сама тянулась строить держатель. Марина остановила руку. Она остановила её так, как научилась

останавливать в ту ночь, когда перо висело между двумя светами, — не убрала, положила рядом, — и потом сделала то, чего не делал в этом городе никто за двадцать лет.

Она построила — решётку.

Медную, тонкую, открытую. Не клетку: решётку, через которую перо видно всем и не заперто ни для кого. Она поставила её под брюхом корзины, туда, где должен был стоять очаг, — и положила пёрышко на решётку. Пёрышко легло. И — потеплело.

— Держали и клетку, — сказала Марина. Не книжке — двору. — Теперь держит решётка.

Ефим считал вслух. Он стоял у тетради и говорил то, что считают те, кто умеет: подъёмная сила — если жар в решётке поднимется до того, что стоит у кромки; расход — если жар пойдёт в отдачу; время — до перевала, если ветер будет тот, которым дует с востока к перевалу всегда. Тетрадь лежала между ними — и впервые строка Ефима шла рядом с пометкой Марины: конторский почерк встречался с часовщицким на одной странице, и ни один не переписывал другого.

Внизу страницы, в графе «кто», Ефим написал: «Иван».

В графе «сколько» — поставил тире.

Сцена 3. Первая проба. Тяга не идёт

Корзину подняли на верёвках.

Над двором, на высоте плеча, на четырёх концах, — и это была та же механика, которой город знал уже всё: цепь для того, кто рвётся, верёвка для того, кто стоит. Аппарат был не сделанной птицей. Аппарат был — гусеница.

Так его и называли — не Иван, не Антип, не Марина. Силантий.

Он стоял под корзиной, держал конец, посмотрел вверх — на длинное, кривое, неровное тело, на обручи, на парус, который не шился к этому бортику и который пришивали теперь к тому, — и сказал одним словом, тем, которым богатырь называет то, что видит:

— Гусеница.

И — это осталось. Потому что была правда: корабль уродлив. Уродлив так, как бывает уродливо у всего, что сделано руками из того, что было под руками, — без красоты, без лета, без того, что нарисовали бы в книжке с картинками. Корзина — из старых досок. Борта — в кожаных заплатках, с хрустальными осколками в швах, которые ловили свет и дичились его. Полотно — рогожа, серая. Над всем — длинный, кривой, неровный корпус, который шёл от носа к хвосту и не имел в себе ничего от птицы, ни крыла, ни пера, ни хвоста-стрелы.

Гусеница, которая собирается стать тем, чем станет.

Дали жар.

Марина стояла у решётки — не у рычажков: рычажков на аппарате не было, был один отвод и один размыкатель, — и ждала. Жар шёл в решётку. Пёрышко лежало на меди, открытое, и тепло шло от него вверх, под полотно, под рогожу, под осколки.

Полотно — трепетало.

И — стояло.

Тепло было. Полотно шевелилось — по краям, по шву, по тем местам, где Пелагея шила частым стежком, — и не поднимало. Воздух под корпусом стоял тёплый, живой, настоящий — Антип поднёс под корпус ладонь и почувствовал то тепло, которое бывает у печи, у которой сидят не греться, а быть, — и корпус не пошёл.

Иван положил ладонь на медь — на кромку решётки, где медь была тёплая.

— Я здесь, — сказал он. Тем третьим. Тому, что в решётке.

И — ничего.

Медь не отвечала. Воздух не шёл. Полотно стояло. И это было не то молчание, которое бывает у пера, когда перо спит, и не то, которое бывает у пера, когда перо ждёт. Это было — другое. Медь была просто латунью. Тёплой от его руки. Воздух был просто воздухом. Тёплым от его руки.

Марина смотрела на термометр.

Тридцать шесть и пять. Тридцать восемь. Сорок. — и столбик стоял. Не шёл. Не дрожал. Жар шёл в решётку — и жар был правильным, Ефим посчитал его в тетради и тетрадь сходилась, — а подъёма не было.

И — Марина поняла.

Не сразу — телом, раньше головы, так, как понимает рука, что держит пустоту. Она посмотрела на медь, на пёрышко, на свой отвод, на размыкатель, — и увидела то, что было видно всем и что никто не видел: пёрышко лежало на решётке. Под ним — жаровня. Над ним — воздух. Вокруг — борта. Внизу — двор, земля, трубы, швы мостовой, узор, который шёл по всем фундаментам города и по которым шёл Кощей.

Пёрышко лежало на железе, над землёй, — и было тепло, которое взято.

Взято — и заперто в решётке, как в клетке, как в гнезде, как в ящике, как в держателе. Жар шёл вниз — в медь, в доски, в двор, в узор. Жар шёл внутрь — в полотно, в осколки, в борта. Жар шёл всюду, где было лежащее, — и не шёл туда, где было небо. Потому что небо не берёт. Небо не лежит под жаром, небо не держит жар в себе, небо не имеет фундамента.

И Марина поняла — телом, раньше головы, тем, третьим, которое в часовщиках есть:

Жар, который взят, — не летит. Жар, который отдан, — летит.

Закон чертежей с кровью на полях — «отдача без возврата — расход» — не отменился у кромки неба. Он только повернулся. На земле, где всё берут, отдавать — значит тратить. В небе, где ничего не берут, отдавать — значит идти. Отдача без возврата — расход. И подъём без отдачи — нет.

Она вписала в книжку одной строкой — крупно, как пишут не для архива:

«Небо берёт отдающего. Небо не берёт держателя».

— Отпустить, — сказала она. Ивану. Не Ивану.

И Иван — разжал ладонь.

Это было то самое движение, которое он умел делать hardest и которое он научился делать в те ночи, когда перо висело между багряным и зелёным и медь молчала под его рукой, — отпустить, не уйти. Ладонь осталась рядом с медью — на волос, не касаясь. Не держала. Свидетельствовала.

И — пёрышко отдало.

Тепло пошло не в медь, не в доски, не в двор. Оно пошло вверх — тем тонким, живым, ласковым потоком, который бывает у того, что отдало последнее, — и воздух под корпусом двинулся. Не рванулся. Не замкнулся. Двинулся — как двинется вода, когда откроют шлюз: тихо, ровно, безвозвратно. Полотно — натянулось. Осколки в швах — поймали свет и положили его на полотно, и свет лёг, как ложится иней: тонко, ровно, безвозвратно. И корпус — пошёл вверх.

На пол-аршина. На ладонь. На палец.

Все стояли в кругу — как стояли у колодца. Никто не кричал. Никто не хлопал. Силантий держал верёвку и смотрел вверх. Антип держал накладную, в которой не было графы для того, что поднялось на пол-аршина. Ефим стоял у тетради и смотрел, как сходится то, что не сходилось.

И Марина закрыла книжку.

Не до конца — на палец. Как закрывают книгу, которую надо будет открыть снова, — и надо будет открыть её скоро.

Сцена 4. Капитоныч напрашивается

Он пришёл на Огородную не в конторский час.

Он пришёл вечером — в тот час, когда город расходился по дворам, когда окно Долгопальцевых было золотым, когда на кромке стояла очередь из тех, кто хотел слушать перо. Он шёл по улице — и шёл он не как идут слепые: не с палкой перед собой, не ощупью. Он шёл ладонью по стене — на уровне груди, — и все, кто стоял на улице, слышали, как ладонь идёт по доске: шершаво, ровно, без страха.

Он нашёл дверь калитки со второго шага.

Это надо написать ровно, потому что в этом «со второго шага» было всё: тело знало двор раньше глаз. Тело Капитоныча двадцать лет ходило конторскими коридорами — и теперь, когда глаз не было, тело помнило, где двери. Оно нашло калитку двора, где жил аппарат, — и вошло.

Он стоял во дворе — лицом туда, где стояла корзина. Слепой, стоящий лицом к тому, чего не видит, — это самое странное зрелище из всех, которые город видел за двадцать лет, и город видел много. Он стоял и дышал тем воздухом, который стоял под корпусом, — воздухом, который был тёплым и отдававшим, — и дышал он им так, как дышат те, кто узнал.

— Я съел пепел, — сказал он. Ровно. Конторским тоном — тем самым, которым докладывают о недостатке: слово в слово, строка в строку, без того, что в конторских докладах не говорят. — Я вижу дорогу. Без меня заблудитесь.

И это не было ни просьбой, ни покаянием, ни предложением. Это было — показание. То, которое даёт тот, кто знает, что другие не знают, и знает, что другие не могут знать. Так дают показание под присягой. Присягой у него был пепел.

Марина возразила.

Она возразила не про глаза — про другое. Она подошла к нему — слепой слышал шаги, и не повернулся, потому что понимать, кто стоит рядом, он умел без глаз, — и сказала то, что было в ней часовщицким:

— У слепого, который двадцать лет служил графам, рука может тянуться держать. Двадцать лет — это приживается. А на корабле держащих нет. На корабле — отдающие. Я не могу посадить в корзину того, кто будет держать. Потому что держащих небо не берёт.

И Капитоныч ответил ей тем, что у него осталось вместо глаз.

— Я всю жизнь описывал, — сказал он. Голос его не дрогнул — голос, который двадцать лет читал графы вслух, не умеет дрожать. — Всё, что было в городе, я проходил через графу. Всё, что нельзя было вложить в графу, я выкидывал. Теперь — описывать нечего. Нечего описывать — потому что всё, что было, ушло в графы, которые никто больше не читает. Осталось одно.

Он поднял руку — ту, в которой был чемодан, когда чемодан был. Рука стояла в воздухе на пол-аршина выше пояса — та самая высота, на которой висит всё, что висит.

— Есть дорога.

И потом — то, чего никто не ждал.

Он начал описывать дорогу. Не ту, которую он знал из контор — из контор он не выходил, его дорога шла из конторы в контору, — а ту, которую он не знал никогда: за перевалом, над облаками, над лесом, над полем, где стояла бледная. Он описывал её тем тоном, каким описывают недостаток: ровно, строка в строку, без умолчаний, без того, что в показаниях не

говорят. Он называл облако — не «облако», а то облако, которое висит над перевалом с подветренной стороны, потому что ему там тепло. Он называл вихрь — тот, что встаёт за перевалом между двумя грядками, когда солнце на востоке и земля холодна. Он называл ложбину — ту, по которой птицы шли бы, если бы птицы ходили по небу.

Марина слушала — и слушала то, что не было описанием: то, что было показанием. Потому что он говорил не о том, что видел глазами. Он говорил о том, что видел пеплом — о том, что в нём осталось от живого, что в нём не влезло, что в нём было несовместимостью, — и несовместимость не видела глазами, несовместимость видела тем, чем не видит ничего.

— Слепой на корабле, — сказала Марина. И голос её стал другим: тем, которым часовщик говорит, когда механизм сходится. — Это не пассажир.

— Это прибор, — сказал Капитоныч. — Который измеряет то, чего не увидишь.

И — финал сцены был жестом, а не голосом.

Он расстегнул пояс. Снял с пояса пряжку — чемоданную, латунную, ту, которой двадцать лет заперся чемодан с накладными и с запасной печатью. Палец шёл по пряжке — по той стороне, где стояла печать, — и палец помнил печать так, как помнят родинку. Он снял пряжку, прошёл к решётке — не спотыкаясь, потому что тело знало двор со второго шага, — и положил её рядом с пёрышком.

На решётку. К пеплу. К тому, что осталось от того, что съел.

— Сдано, — сказал он.

И его взяли.

Антип стоял в стороне — у забора, где складывали прокорм. Он не сказал ни слова. Он смотрел на Капитоныча и думал то, чего не говорил: думал, что если бы пепел съел он — слеп был бы он. Что если бы пепел съел Силантий — слеп был бы Силантий. Что если бы пепел съел Марина — слепа была бы Марина. Что цена не выбирает, кто её платит. Цена выбирает тех, кто не испугался её назвать. И в этом невыданном думе было то, чего не было в двадцати годах накладных: счёт, который сходится, не имея графы.

Сцена 5. Набор команды. Счёт Антипа

По человеку — по рукам.

Антип считал вес.

Он взял тетрадь Ефима — не отнял, попросил: торговец умеет попросить то, что нужно, — и открыл на странице, где сходилась расчёт, и стал считать. Он считал то, что умел считать двадцать лет: вес, прокорм, объём, срок. Прокорм на шесть суток — потому что шесть суток считал Ефим до перевала, если ветер с востока, и на семь — если ветер севший, и на десять — если ветер южный, а южный ветер на перевале бывал чаще, чем все прочие, вместе взятые. Он пересчитал — и вписал в накладную.

Впервые в жизни Антип вёл накладную, в которой графа «цена» стояла пустая.

Не «без цены» — не «бесплатно» — не «даром». Пустая. Потому что «даром» — это цена, которую не назвали. А «пустая графа» — это то, чего в накладных не бывает, потому что накладная без цены не накладная. Он вписал вес, вписал срок, вписал число — и в графе «цена» поставил тире.

И то тире держало всю накладную.

Он вёз варезку.

Ту самую — с двумя пальцами, связанную женской рукой, снятую с кармана тулупа старика на площади в тот час, когда убил порядок. Он носил её с той ночи — не в кармане, в кулаке, как носят то, что ещё никому не отдано. Город сказал в тот час: ни один не прошёл. И варезка стояла у Антипа вещью, которую никто не подобрал, — и он знал тем, третьим, которого не было у торговца: отдавать — теперь его ремесло. Он вёз её за перевал. Кому отдать — он не знал. Он знал только, что вещи, которые носят в кулаке, отдают не тем, кто просит.

Силантий встал на борт.

Он не просил ни места, ни дела, ни слова. С обрубками пальцев на обеих руках он не мог держать ни весла, ни снасти, ни верёвки, ни медяков, ни чего-либо, что держат. И он не просил. Он встал там, где в корзине заканчивался борт, — лицом наружу, — и это было всё. Богатырь не объясняет. Богатырь стоит там, где заканчивается борт, — и это значит: за бортом — он.

Меч остался в ножнах. Силантий не снимал его с той ночи, когда перо висело между двумя светами и меч не был мечом. Он носил его в ножнах и теперь — потому что перед тем, что в небе, меч не меч. Но он носил и то, что не меч, — потому что богатырь — тот, кто стоит. А тот, кто стоит, несёт всё, что у него есть, — включая то, что не работает.

Марина поставила рычажки.

Три — как в амбаре, где стояли всегда: подача, отвод, размыкатель. Подача — открывала решётку жару. Отвод — уводил жар в борта, в осколки, в полотно. Размыкатель — тот, о котором она не сказала Ивану в ту ночь, когда перо кричало, — стоял под её пальцами на полудюйма от руки. Теперь она говорила о нём вслух. Это было то, чему она научилась в те дни: тайное держит до тех пор, пока не названо. Названное — не тянет. Названное — слушает.

— Если перо перегреется, — сказала она, не глядя ни на кого, — перо уйдёт в воздух. Я не дёрну раньше срока. Я дёрну, когда нельзя не дёрнуть.

И это был её ответ на всё, что было: на цепь, которая была не для птицы. На ночь, когда она сняла руку с рычажка и закрыла короб. На всё, что она умела, — умение снять руку. Только теперь она знала, что рука, которую снимают вовремя, — это не слабость. Это — третий рычажок.

Пелагея не пошла.

Это надо написать ровно, потому что ровным это не было.

Она слышала, как шьют парус, и шила сама; она слышала, как считают прокорм, и считала сама, — и в этом слышании было то, что понимает мать: её не берут. Не отталкивают — не берут. И в этом «не берут» не было логики, которой можно было бы спорить: логика была — её ладонь, та, из сна, раскрытая над полем, где лежал тонкий, инейный свет, — была не ладонь для полёта. Сон показал её над полем, — а поле ждало в ней город, который научится отдавать. Она не могла уйти из двора, потому что сон связал её с полем той нитью, которая идёт не по земле и не по небу, а по тому, третьему, где сон стоит между «я» и «здесь». Она была — та, кто остаётся. И то, что остаётся, — это тоже дорога.

Она передала Ивану не узелок.

Узелок — это то, что передают те, кто умеет прощаться узелком. Она передала ему руки.

На пороге двора, утром перед вылетом, она взяла его ладонь в свою — старую, с мозолями, которая держала каравай, косу, руку обожжённую, всё, что держала, — и держала так, как держат то, что не уйдёт, если держать не будет. И сказала то, что умеет говорить только мать, которая научилась молчать двадцать пять лет и больше не молчит:

— Иди. Я никуда не уйду из двора. Кормить буду тех, кто останется.

Сцена 6. Кощей слышит. Узор тянется вверх

Под городом — узнавали.

Не словами. Не через слуг. Через то, чем узор слушал всегда: через скрип, через гудение, через стружки, которые ложились на пол амбара и дрожали на волос, когда под ними шло то, что шло под фундаментами. Аппарат строили пять дней. Пять дней скрип рубанка шёл по двору — и пять дней узор в трубах менял направление.

Это было видно — если знать, куда смотреть.

Жилки в швах мостовой, те тонкие зелёные линии, которые шли по городу, как идут трещины по льду, — поворачивали. Не бежали, не тянулись, не ползли — поворачивали, как поворачивает вода, когда находит провод: не спеша, по всей длине сразу, не спрашивая. Они шли теперь не к Заводской, не к площади, не к дворцу. Они шли к Огородной.

К корзине.

К тем местам, где лежали осколки, где стояли верёвки, где дышал воздух, который был тёплым и отдававшим, — и в этом движении было то, чего Кощей не умел двадцать лет: узнавание. Кощей не знал, что строится. Кощей не мог знать: у узора не было глаз, не было ушей, не было того, что знает. Но узор знал — тем, которым знают то, что из него вышло: руки. Руки, которые умели соединять живое с железом. Руки, которые обучены по чертежам с кровью на полях. Руки, которые теперь строили не держатель — отдающее.

И узор шёл к тому, что строилось, как шла вода к проводнику: не с злом, не с лаской — с голодом.

К вечеру пятого дня — зелёная жилка дошла до края двора.

Она пришла по мостовой, по шву, по тому месту, где камень встречался с землёй, — и остановилась у кромки. Не вошла. Не замерла как замерает то, что боится. Она стояла — ровно, тонко, без дрожи, — и ждала. Кощей не рвался. Кощей умел ждать — это было то, чем он отличался от всего, что рвётся: он ждал, потому что ждало то, что под ним, а то, что под ним, ждало двадцать лет и умело ждать до конца света.

Но теперь он ждал с одним знанием, которого у него не было двадцать лет.

У них была дорога, по которой он не дотянется.

И это знание — надо было снять. Снять — как снимают с Weaverly того, что вяжет: не вырвать нить — вынуть челнок. И Кощей начал искать челнок.

Изнутри трубы — голос Иовану.

Он шёл по тому же пути, каким шёл всегда: через свинец, через железо, через медь, через то, что умело передавать то, что не звук. И голос был тот же — тот самый, который звал учеником, который обещал дом, число, вечность, то, что не кончается:

«Дом. Тепло. Число. Отдай корабль — и останешься».

Иван не отвечал.

Не отвернулся, не закрыл уши, не сплюнул — потому что тому, кто идёт из земли, не отвечают тем, чем отвечают людям. Он положил ладонь на медь — на кромку решётки, не касаясь, — и держал её так, как держал в те ночи, когда перо кричало. Не «не пущу». Не «я здесь — держу». Третья ступень: «я здесь». Свидетельствовал.

А тому, кто говорит из земли, не отвечают.

Ему отвечают весной.

И на заводе — Савелий Прохоров делал то, чего не делал ни один мастеровой этого города за двадцать лет.

Он шёл на Огородную с инструментом.

Не свитой, не под конвоем, не по приказу — пешком, через город, через зелёные жилки на мостовой, через то, что шло теперь не к Заводской, — и нёс на плече то, что нужно было руке Ивана: инструмент с завода. Стальной прут для шва, которым соединяют живое с железом. Тиски — те, что держали крылья той мёртвой механической птицы, которая лежала на площади, а потом была унесена в той цепи ночей, о которой город не говорит. Ручной станок — маленький, для мелкой работы, тот, который стоял у него в цехе и которым он выточил для своих машин всё, что выточил.

Он принёс его — и это не был жест.

Савелий Прохоров не умел жестов. Жест — это то, что делают те, кто умеет не считать. А он считал. И он считал то, что было видно с завода так же ясно, как было видно с площади: если корабль не уйдёт, узор дойдёт до смены. До смены — дойдёт до ворот. До ворот — дойдёт до его имени на воротах, которое двадцать лет стояло на камне и которое он смотрел каждое утро, приходя, и каждый вечер, уходя. Узор не различал хозяина и колесо. Узор шёл по тому, что лежит. А он был колесо.

И потому он принёс станок — не жестом, а счётом.

И счёт сходился.

Сцена 7. Царь на площади. Гравитация

Царь слышал скрип.

Не словом — скрипом: тем самым звуком, который шёл с Огородной и которого город не знал. Скрип доносился до площади по тем же переулкам, по которым шло всё, что шло, — и царь, который двадцать лет слушал гудок и больше ничего, слышал скрип — и понял, что это то, чего он не слышал никогда: звук работы, за которым не стоит приказ.

Он поднялся к Огородной — без ковра.

Без свиты, без ливреи, без того, что идет за царём, — пешком, через город, по тем улицам, где он не ходил двадцать лет, потому что двадцать лет его носили. Он шёл не быстро. Он шёл так, как идут те, кто несёт на себе то, что нельзя положить. И нёс он ящичек.

Тот самый — с пеплом.

Ящичек, который двадцать лет держал форму его власти, который стоял на подоконнике в башне и из которого он брал горсть, когда горсть была нужна, — а горсть была нужна не для тепла и не для дороги, а для того, чтобы что-то держать в руке, когда нечего держать. Он нёс его сам. Это надо написать ровно, потому что ровным это было: царь нёс ящик — пешком, без свиты, по улицам, где гудки уже не гудели, — и в этом несении было всё то, чего он не умел двадцать лет: нести то, что не приказывает.

У кромки двора он не вошёл.

Он стоял — там, где стоял весь город в те дни, когда очередь расступалась перед теми, кто не просил, — и смотрел на корзину. Он не спрашивал «что это». Он спрашивал то, что спрашивают те, кто считает:

— Каков срок?

И это был не вопрос о сроке вылета. Это был вопрос о сроке города. О том, сколько осталось — у света, у очереди, у того, что стоит на площади и слушает перо, — если они не дойдут. И Ефим ответил ему тем, что было в тетради. Не словами — цифрой.

— Свет в городе кончится, — сказал Ефим. Ровно. — Если не вернут. А за перевалом ждёт бледная.

И — царь сделал то, чего не делал ни разу за двадцать лет.

Он открыл ящик.

Не сломал, не отдал, не приказал открыть — открыл сам, пальцами, теми самыми пальцами, которые подписывали указы. И взял горсть пепла — не для того, чтобы держать. Чтобы положить.

Он положил пепел на решётку — рядом с пёрышком, рядом с пряжкой Капитоныча, — туда, где лежало всё то, что отдали те, кто не просил платы. Горсть пепла с подоконника, который двадцать лет держал форму его власти, — теперь не держала ничего. Пусть везёт дорогу, которой нет графы.

— Двух печатей хватит, — сказал он. И голос его был не царским. — А горсть — не помешает.

Писарь стоял за углом — с простой книгой, не с казённой. Он записал это в тот же вечер, в ту строку, которая была четвёртой в его книге, потому что первые три он записал раньше:

«Свет — ничей. Скамья — два медяка. Товар — казённый. Царь дал пепел. Цены нет».

И он не знал, зачем пишет это. Он записывал всё, что видел.

Сцена 8. Ночь перед вылетом

Иван остался с аппаратом один.

Это было то, что он умел: ночи на меди. Ночи, когда все уходят, а он остаётся, и тот, третье, шло между ним и тем, что гудело. Он стоял у корзины — у той, которая была гусеницей и которой предстояло стать тем, чем она станет, — и не трогал её. Он держал ладонь у меди — на волос, не касаясь, — и говорил.

Не вслух. Тем третьим, которому слова не нужны.

— Я не везу тебя назад, — говорил он. — Я несу тебя — отдать.

И в этом «отдать» было всё, что он понял за те дни, когда перо висело между двумя светами, — всё, что он понял за двадцать лет, когда перо было в нём, а он был тем, кто нес. Перо не возвращалось к той, которая его родила, — оно шло к той, которая его ждёт. И разница между «назад» и «вперёд» была не в дороге. Разница была в том, что назад несут — а вперёд отдают.

И — перо гуднуло.

Тем самым «я здесь» — тем же, которым гуднуло в свинце, в гнезде, в воздухе над раскрытым хрусталем. Только «здесь» теперь значило другое. «Здесь» значило — небо.

А за калиткой стоял Гордеев.

Он стоял так, как стоял в тот вечер, когда город ходил мимо него с ведром и он стоял на краю круга, — не просился, не звал, не говорил. Узор на его руке был спокойный: зелёные жилки лежали на коже ровно, тонко, как лежит память, — не тянулись, не дёргались, не звали. Пятно на ладони дотягивалось до кромки узора — и узор не шёл за пятном. Он был тот, кто посередине. Не по выбору — по анатомии. И в этом «посередине» было всё то, что не помещилось ни в одну графу города за двадцать лет.

Он не просился.

Он говорил — в темноту, не оборачиваясь, зная, что Марина услышит, потому что Марина слышит тем третьим всё, что стоит в её дворе:

— По земле я посередине. В небе мне нечего делать.

И Марина, которая слышала, — впервые за все месяцы не спорила и не записывала.

Она поняла то, что не понимали те, кто стоял ближе: посередине — это не работа, которую можно взять с собой. Посередине — это место, которое остаётся пустым, когда тот, кто в нём стоит, уходит. И Гордеев знал это — тем, которым знает тот, кто всю жизнь был проводом: если он пойдёт вверх, узор пойдёт за ним. По земле — да. По воздуху — нет. Но узор не знает воздуха. И потому узор пойдёт не за ним — узор пойдёт по тем, кто остался. И потому тот, кто посередине, остаётся посередине. Это было не самопожертвование. Это было — анатомия.

И в доме — Ефим говорил Пелагее.

Он говорил тем голосом, которым говорят то, что нельзя не сказать, а сказать страшно, — тихо, без пауз, потому что пауза была бы хуже:

— Ноги-то у меня живые. Поднимут меня, Паня, к горну пойдём.

И Пелагея — которая знала, что сон показал ей ладонь над полем и что поле ждало в ней город, — слушала. И не спорила. Потому что между тем, что показывает сон, и тем, что говорит муж, — есть то, что решает не сон и не муж: время. И время ещё не пришло.

Сцена 9. Рассвет. Вылет

Они шли на рассвете — так идут в поле.

Не толпой, не по зову, не под гудок — по одному, по двое, теми дорогами, которыми город ходил в те дни, когда страх стал бледным и никто не объяснил правил. Город пришёл к Огородной — не весь, но тот, который умел приходить: вдова с сыном, писарь с книгой, мастер у каланчи, двое стариков с погреба, тот, который боялся спускаться и который говорил «наверху-то свет», — все те, кто стоял у кромки в те дни, когда было видно, что не всё бледнеет.

Круг носящих вокруг пепелища — теперь был круг вокруг корзины.

И — поднятие.

Жаровня под решёткой дышала. Марина стояла у рычажков — у трёх, из которых один был тайный и который она больше не держала тайной, — и её рука лежала на них так, как лежит рука, которая решила не командовать. Иван стоял у корпуса — не на меди, рядом, на волос, свидетельствуя. Антип проверял прокорм, вес, балласт — всё то, что можно было взвесить, и вписывал в накладную, в которой в графе «цена» стояло тире. Силантий встал на борт — лицом наружу, туда, где заканчивалась корзина. Капитоныч сидел на носу.

Слепой. Лицом туда, где было солнце.

Ладонь его лежала поперёк поднимаемого воздуха — не на чём-то, просто в воздухе, раскрытая, как раскрыта та ладонь, которую сон показал Пелагее над полем. И воздух шёл через ладонь — как шёл свет через осколок: держался на волос, на четверть вдоха, — и Капитоныч читал его так, как двадцать лет читал графы.

Корзина — оторвалась.

Тихо. Так, как отрывается то, что не бежит, а несётся: без рывка, без скрипа, без того, что кричит. Просто — не стало земли. Двор — пошёл вниз. Крыши — пошли вниз. Трубы, швы мостовой, зелёные жилки, которые шли к Огородной, — пошли вниз, всё вместе, всё то, по чему шёл Кощей, — вниз, под ноги, туда, где они остались.

А узор — дёрнулся.

По всей длине труб, по всем швам мостовой, по всем фундаментам, по всему, что лежало и держало, — узор дёрнулся так, как дёргается тот, кто двадцать лет ждал и услышал, как над ним уходят. И в этом дёргании не было ярости — было то, чего Кощей не знал в себе: испуг. Тот, который бывает у того, кто понял, что дорога, по которой он шёл, — не единственная.

Пилот прошёл над зелёной жилкой у двора — той, которая стояла у кромки и ждала.

И жилка не встала.

Узор не летает. Узор идёт по тому, что лежит. И то, что уходило, — не имело ничего, за что можно было дёрнуть: ни фундамента, ни трубы, ни шва, ни камня. Всё то, что было в городе Кощеевым, — осталось под ними. В небе не было ничего Кощеева. И потому узор дёргался внизу — и не мог ничего.

А на носу — Капитоныч.

Он сидел на носу — и было странно видеть слепого, который сидит на носу летящего, потому что на носу сидят те, кто смотрит. Он не смотрел. Он слушал воздух. Ладонь его лежала поперёк потока — та, которая слышала, чем дышит небо, тем, что в нём осталось от пепла, тем, что не влезло, — и воздух шёл через ладонь, и ладонь читала.

И он командовал.

Ровно. Конторским тоном. Тем, которым докладывают о недостатке — слово в слово, строка в строку, без того, что в докладах не говорят:

— Вверх. Левее. Облако пропустить, за ним — вихрь.

И — Марина рычажки. Иван — ладонь у меди, свидетельствующий. Антип — накладную, где в графе «цена» стоит тире. Силантий — лицом наружу. Капитоныч — на носу, ладонь поперёк неба.

И — с земли: Пелагея во дворе, ладонь поднята — не вслед. Вверх. В поле. Ефим стоял рядом с ней, держа тетрадь, в которой в графе «кто» уже было «Иван», а в графе «сколько» — тире, и не знал, зачем держит тетрадь, если графа пустая, и держал. Писарь писал своё — и не знал, зачем, и писал. Царь смотрел — и свет из-под города лежал на его сапогах, ничей.

И — тире.

Конец главы 77.

Глава 78. «Кощеев зов»

Сцена 1. Ночь. Одиночество у корзины

Тишина, которой кончилась глава семьдесят седьмая, не ушла.

Но у неё появилась глубина.

Это была не та тишина, что стояла в амбаре в первую ночь, — не пауза между гудением и гудением. И не та, что легла на город после колыбельной из колодца, — не последняя нота, которая повисает и ждёт продолжения. Это была тишина перед тем, что должно произойти. Тишина, в которой слышно собственное дыхание и в которой дыхание кажется слишком громким.

Иван остался у корзины один.

Так было всегда — так он оставался у меди в подземелье, так сидел у гнезда в амбаре, так стоял у стержня, когда все уходили. Ночь — его время. Ночь — время того, кто несёт. Днём носят все: город носит воду, Антип носит накладную, Марина носит книжку, Силантий носит меч. А ночью — когда все уходят и остаётся только то, что гудит, — носит он. Один. Так было двадцать лет. Так было и теперь.

Двор лежал в темноте. Осенняя ночь была длинной и звёздной, и звёзды лежали на крышах, как лежит первый снег на том, чего не ждали. Город спал — впервые за двадцать лет без гудка, без смены, без того, что поднимает и опускает. Город спал сам — по темноте, по усталости, по тому, что тело знает без часов. И в этом сне не было ни страха, ни ожидания. Был покой. Тот покой, который город не знал двадцать лет и который пришёл к нему не с указом, не с гудком, не с милостью сверху, — а снизу, со светом, который шёл из-под земли и ложился на лица ровно, без спроса, целиком.

Иван стоял у корзины.

Корзина стояла посреди двора — на четырёх чурбаках, на подставках, как ставили то, что готовили к делу. Гусеница. Так назвал её Силантий — и так осталось, потому что было правдой. Уродливая, длинная, кривая, из старых досок и кожаных заплаток, с хрустальными осколками в швах, с рогожей вместо паруса, с обручами от бочек и стропилами от амбаров. Ничего в ней не было от птицы — ни крыла, ни пера, ни того, что летит. И всё-таки она была тем, что полетит. Иван знал это не умом — телом. Тем третьим, которым знал перо.

Он стоял, не касаясь меди.

Ладонь его лежала на волос от кромки решётки — той медной решётки, которую Марина поставила под брюхом корзины. На решётке лежало пёрышко. Обгоревшее, серое, чёрное по краю, — то самое, которое принёс сын вдовы с кромки жара и которое никто не взял, потому что не знали, что с ним делать. Рядом с пёрышком лежала пряжка Капитоныча — латунная, чемоданная, с печатью, которую палец знал как родинку. Рядом с пряжкой — горсть царского пепла. Того самого, с подоконника, который двадцать лет держал форму его власти. Три вещи. Три отданных. Ни одна из них не имела цены — и все три лежали вместе, как лежат то, что отдали те, кто не просил платы.

Иван смотрел на них.

Не глазами — тем третьим, которым смотрел на перо в те ночи, когда перо молчало. Он знал каждую из этих вещей. Знал, откуда они. Знал, что за ними стоит. Пёрышко — вдовы сын, пепел — царь, пряжка — Капитоныч, слепой, который съел пепел и увидел дорогу. Три вещи. Три дороги. И за каждой — человек, который отдал то, что не продаётся.

— Я не везу тебя назад, — сказал Иван. Не вслух. Тем третьим, которому слова не нужны. — Я несу тебя — отдать.

Он говорил с пером. С пёрышком. С тем, что лежало на решётке и что не отвечало — потому что пёрышко было не перо. Пёрышко было памятью. Память не отвечает. Память — лежит.

— Назад — это к той, которая родила, — сказал Иван. — Вперёд — это к той, которая ждёт. Разница не в дороге. Разница в том, что назад несут — а вперёд отдают.

Он говорил тихо. Так, как говорил с пером в подземелье, когда перо было тьмой и молчанием, и он учился не командовать. Двадцать лет он учился этому — не командовать. И теперь, когда он стоял у того, что должно было понести его за перевал, он говорил не команду. Он говорил — то, что знал телом. То, что было правдой.

— Я не знаю, успею ли, — сказал Иван. — Ефим считал. Три и три десятых в месяц. Свет в городе кончится через год. А она — за перевалом. Она — бледная. Она — ждёт.

Он замолчал.

В тишине было слышно, как дышит двор. Как дышит земля — та земля, из которой шёл свет, ровный, ласковый, тот, который лежит на лице от печи в морозный день. Как дышит город — тот город, который спал без гудка. И как дышит он сам — Иван, стоящий у корзины, ладонь на волос от меди.

И в этой тишине — в той, где было слышно всё, — появилось то, чего не было.

Не звук. Не голос. Не гудение.

Что-то другое.

Сцена 2. Голос. Первое слово

Иван не слышал это ушами.

Уши слышат звук — то, что идёт по воздуху, то, что можно поймать и назвать. Это пришло не по воздуху. Это пришло изнутри — как приходит мысль, которую ты не думал, но которая уже здесь, в тебе, и ты не знаешь, когда она вошла. Как приходит воспоминание, которого не было. Как приходит знание, которого ты не учил.

Голос.

Тихий. Тёплый. Не заводской, не сроковой, не тот, которым говорили трубы и гудки. Это был другой голос. Тот, которого Иван не слышал никогда — и всё-таки узнал. Как узнают голос, который слышали раньше, но не помнили, что слышали.

— Ваня.

Одно слово. Имя.

Иван замер. Не от страха — от того, что тело остановилось раньше головы. Так останавливается рука, которая уже знает, что коснётся горячего. Так останавливается дыхание, когда слышишь то, чего не ждал. Тело знало раньше Ивана. Тело знало, что это — не своё.

«Ваня».

Так его не звал никто. Мать звала — но мать умерла давно, и её голос Иван помнил другим: слабым, с хрипом, с тем, как она говорила «Ванька» — не «Ваня». Ефим звал «Ванька» — коротко, без лишнего, как говорил всё. Марина звала «Иван» — ровно, часовщицки, как записывала в книжку. Силантий не звал никак — богатыри не зовут, богатыри стоят. Город звал «механик», «тот, который с пером», «бывший».

«Ваня» — так не звал никто.

И всё-таки это было правильно. Так, как правильно бывает только то, что знает тебя лучше, чем ты сам.

Иван не ответил.

Он стоял, ладонь на волос от меди, и слушал. Он не мог не слушать. Это не было вопросом выбора. То, что пришло изнутри, нельзя было не слушать — потому что оно было внутри. Как своё. Как то, что всегда было.

— Ваня, — сказал голос. Ласково. Тепло. Так, как говорят с ребёнком, который не понимает, что делает себе больно. Так, как говорит отец — тот отец, которого у Ивана не было, потому что Ефим молчал двадцать пять лет и умел говорить только руками. — Ваня. Зачем ты стоишь здесь?

Иван молчал.

— Зачем летишь? — сказал голос.

И это был не вопрос. Это было сомнение, вложенное в вопрос. Сомнение, которое уже было в Иване — но которое он не позволял себе назвать. А голос называл. Тихо. Ласково. Без нажима.

— Она умирает, — сказал голос. — Ты знаешь это. Ты знаешь, что она бледная. Ты знаешь, что свет рассеян по полю — тонко, как иней, который не собрать. Ты знаешь, что за перевалом — облака, вихрь, холод. Ты знаешь, что дорога длинная. Ты знаешь, что ты можешь не успеть.

Иван знал. Всё это он знал. Знал телом, знал головой, знал тем третьим, которым считал всё, что считалось. Ефим считал — три и три десятых в месяц. Марина считала — свет, который уходит, дома, которые берут. Капитоныч видел — дорогу, облако, вихрь. Все считали. И счёт сходился: она умирает. Она бледная. Свет уходит. Дорога длинная. Он может не успеть.

— Ты не успеешь, — сказал голос.

Тихо. Без злорадства. Без торжества. Просто — сказал. Как факт. Как то, что сходится по всем графам.

Иван стоял. Ладонь на волос от меди. Дыхание ровное — то самое дыхание, которому он научился в подземелье: когда всё рушится, дыши ровно, ровное дыхание — это то, что можно дать, когда больше нечего давать.

— Но я могу помочь, — сказал голос.

И вот здесь — Иван услышал то, чего ждал. То, что было underneath всего. То, что голос вёл с самого начала.

— Дай мне перо.

Три слова. Тихие. Ласковые. Без нажима.

— Я соединю его с колодцем. Свет вернётся. Птица — оживёт.

Иван смотрел на пёрышко — на решётке, рядом с пряжкой, рядом с пеплом. Пёрышко лежало тихо. Не отвечало. Не гудело. Память — лежит.

— Зачем лететь? — сказал голос. — Зачем мучить себя? Зачем нести то, что можно оставить здесь — и получить то же самое? Ты хочешь, чтобы она жила? Я хочу того же. Дай мне перо — и она будет жить.

Иван молчал.

— Ты не веришь мне, — сказал голос. И в этом не было обиды. Было — понимание. То самое понимание, которое знает тебя лучше, чем ты сам. — Ты думаешь, я лгу. Ты думаешь, я — тот, кто берёт. Ты думаешь, я — Кощей.

Пауза.

— Я не лгу, Ваня. Я никогда не лгал. Я говорил треть правды — и треть эта была тяжелее целой лжи. А теперь я говорю всю правду. Всю. Слушай.

Сцена 3. Искушение. Треть правды — целая

— Она умирает, — сказал голос. — Это правда. Ты летишь — и можешь не успеть. Это правда. Свет в городе уходит — три и три десятых в месяц, твой Ефим считал, и счёт сходится. Это правда. Через год — темно. Через два — город кончится. Это правда.

Иван слушал.

— Я могу это остановить, — сказал голос. — Я — колодец. Я — то, что лежит под городом. Я — то, из чего вы выкачали свет двадцать лет назад. И я могу вернуть его. Не потому что я добрый. Потому что мне это выгодно. Мёртвое, которое берёт, — не живёт. Мёртвое, которое отдаёт, — живёт. Я понял это. Я понял это, когда перо ушло в землю и когда свет пошёл в город. Я понял, что отдача — не расход. Отдача — это жизнь.

Пауза.

— Дай мне перо, — сказал голос. — Я соединю его с колодцем. Свет вернётся в город. Свет вернётся к ней. Птица оживёт. Ты не будешь лететь. Ты не будешь мучить себя. Ты останешься здесь — и всё будет так, как должно быть.

Иван молчал.

— Ты не веришь, — сказал голос. — Ты думаешь, я хочу взять. Но я не хочу взять. Я хочу — отдать. Я хочу вернуть то, что взял. Двадцать лет я брал. Я выкачивал. Я держал. И я получил то, что получил: голод, который не наелся, колодец, который полон и голоден. Я понял, Ваня. Я понял то, чего не понимал двадцать лет. И теперь я хочу исправить.

Иван слушал. И в этом слушании было то, чего он боялся больше всего: голос говорил правду. Не треть. Всю. Она умирает. Он может не успеть. Свет уходит. Город кончится. Голос может вернуть. Всё — сходилась. Всё — было правдой.

— Останься, — сказал голос. — Будь моими руками.

Иван вздрогнул. Не телом — тем третьим. Тем, которое знало.

— Ты умеешь держать, — сказал голос. — Ты умеешь соединять живое с железом. Ты — тот, кого я искал двадцать лет. Не еду. Не перо. Ученика. Того, кто умеет держать и не

отпускать. Я обучал тебя — чертежами с кровью на полях. Я учил тебя — через Ефима, через горн, через медь. Ты — мои руки, Ваня. Ты всегда был моими руками.

Иван смотрел на свои ладони. Обожжённые. Забинтованные. Зажившие и снова горящие. Ладони, которые держали медь двадцать лет. Ладони, которые не дёргались. Ладони, которые умели.

— Я — буду твоим знанием, — сказал голос. — Ты — будешь моими руками. Вместе — мы боги.

Пауза.

— Не в том смысле, который ты боишься. Не «власть». Не «господство». Боги — это те, кто может. Ты можешь держать. Я могу знать. Вместе — мы можем вернуть свет. Мы можем оживить птицу. Мы можем спасти город. Мы можем — всё. Зачем лететь? Зачем мучить себя? Зачем нести то, что можно сделать здесь?

Иван стоял. Ладонь на волос от меди. Дыхание ровное. Глаза открыты.

— Ваня, — сказал голос. — Я знаю, о чём ты думаешь. Ты думаешь: «Это Кощей. Он лжёт. Он хочет взять». Ты думаешь: «Я — не он. Я — тот, кто отпускает». Ты думаешь, что ты — другой. Что ты — не я.

Пауза.

— Но я тоже думал, что я — не Кощей.

Сцена 4. Сопротивление. «Ты — не я»

Иван ответил.

Не вслух. Тем третьим, которым говорил с пером. Тем, которому слова не нужны. Тем, в котором Марина однажды слышала без звука.

— Ты был таким, как я, — сказал Иван.

Не вопрос. Утверждение. Он видел чертёж. Тот, из ниши. Молодое лицо. Свой лоб. Свои брови, которые сходятся к переносице. Свои руки, вычерченные сбоку, с линиями прожилок и суставов. Руки, которые умеют лежать на меди, не дёргаясь. Руки, которые умеют соединять живое с железом.

— Ты был таким, как я, — повторил Иван. — И кончил так.

Голос молчал.

— Я видел твой чертёж, — сказал Иван. — Твою книгу. Твою строку. «Она доверилась. Я предал. Она простила. Я не простил себя. Я стал тем, кто берёт, потому что не мог стать тем, кто отпускает».

Пауза.

— Ты не мог отпустить. Ты стал брать. И ты кончил тем, что лежишь под городом и ждёшь. Двадцать лет. Ты ждал ученика. Ты ждал того, кто будет твоими руками. И ты думаешь, что я — тот же.

Иван смотрел на пёрышко. На решётке. Рядом с пряжкой. Рядом с пеплом. Три вещи. Три отданных. Три — тех, кто не просил платы.

— Но я — не ты, — сказал Иван. — Я — тот, кто отпускает.

И голос ответил.

— Ты думаешь, ты — не я.

Тихо. Без нажима. Без злобы. Просто — сказал.

— Ты думаешь, ты — другой. Ты думаешь, что у тебя — другая рука. Что ты умеешь то, чего не умел я. Что ты — тот, кто отпускает.

Пауза.

— Я тоже так думал, Ваня. Я тоже думал, что я — не Кошей. Я думал, что я — тот, кто любит. Я думал, что я — тот, кто хочет сохранить. Я думал, что я — тот, кто не берёт, а хранит. Я говорил себе: «Я не беру. Я — держу. Я — охраняю. Я — спасаю». Я говорил себе это двадцать лет. Я говорил себе это каждый день. И каждый день я брал. И каждый день я говорил себе, что это — не брать.

Пауза.

— Ты думаешь, что ты — не я, — сказал голос. — Но ты — я. Ты — я в начале. Ты — тот, кем я был, когда мне было тридцать. Ты — тот, у кого руки умеют держать и у кого сердце умеет отпускать. Ты — тот, кто думает, что он — другой.

Иван молчал.

— Ты — не исключение, — сказал голос. — Ты — не первый. Ты — не последний. Ты — тот же. И однажды ты выберешь брать. Не потому что ты злой. Потому что отпускать нельзя. Потому что когда теряешь — ты не можешь отпустить. Потому что когда она умирает — ты не можешь не держать. Потому что когда свет уходит — ты не можешь не взять. Ты будешь держать. Ты будешь брать. Ты будешь делать то, что делал я. И ты будешь говорить себе то, что говорил я: «Я не беру. Я — держу. Я — охраняю. Я — спасаю».

Пауза.

— И ты кончишь так же, — сказал голос. — Ты будешь лежать под городом. Ты будешь ждать ученика. Ты будешь говорить треть правды — потому что треть правды — это всё, что останется от тебя. Ты будешь Кошеем. Не потому что ты злой. Потому что ты — я.

Иван дрожал.

Не телом — тем третьим. Тем, которое знало. Потому что голос говорил правду. Потому что он не мог доказать, что он — не Кощей. Потому что он не мог доказать, что он — другой. Потому что в чертеже было его лицо. Потому что Ефим сказал: «Руки — те же». Потому что Марина записала: «Развилка не впереди. Развилка — в руке».

— Ты не можешь доказать, что ты — не я, — сказал голос. — Потому что ты — я. Ты — я, который ещё не дошёл. Ты — я, который ещё думает, что он — другой. Ты — я, который ещё не знает того, что знаю я.

Пауза.

— Останься, — сказал голос. — Не мучай себя. Не лети. Дай мне перо. Я верну свет. Я оживлю птицу. Ты останешься здесь. Ты будешь моими руками. Я буду твоим знанием. Вместе — мы боги. Вместе — мы спасём всех. Зачем лететь? Зачем мучить себя? Зачем нести то, что можно оставить здесь — и получить то же самое?

Сцена 5. Крик. Тишина. Объятие

Иван закричал.

Не голосом — всем телом. Тем третьим, которое не умеет лгать. Крик — это отказ. Крик — это «нет», сказанное не словами, а тем, что глубже слов. Крик — это то, что делает живое, когда всё, что можно было сказать, — сказано, и остаётся только одно: быть тем, что ты есть.

Он закричал — и тряс головой. Как трясут, когда хотят вытрясти чужое. Как трясут, когда хотят, чтобы то, что вошло, — вышло. Как трясут, когда знают: это — не моё. Это — не я. Это — не моё.

И голос — исчез.

Не отступил. Не погас. Не ушёл в темноту. Просто — перестал быть. Так перестаёт быть то, что было мыслью. Так перестаёт быть то, что было внутри. Так перестаёт быть то, что не было — а казалось.

Тишина.

Не та, что была до голоса. Другая. Та, которая бывает после. Та, в которой слышно, как колотится сердце. Та, в которой слышно, как дышит тело. Та, в которой слышно, что ты — один.

И в этой тишине — шаги.

Быстрые. Через двор. Без слов. Марина услышала крик — тем третьим, которым слышала перо. Тем, которое в часовщиках не такое, как в Иване, но — есть. Она бежала через двор — босиком, в нижней рубахе, коса наспех, — и не спрашивала «что случилось». Не спрашивала «почему». Не спрашивала «кто». Вопросы — это то, что делают, когда есть время. А времени не было. Было тело. Было то, что тело знает раньше головы.

Она подбежала — и обняла.

Это было первое объятие в книге.

Не рука на плече. Не ладонь на колене. Не то, что делают, когда держат. Объятие — когда тело закрывает тело. Когда ты не держишь и не свидетельствуешь — ты есть. Здесь. Рядом. Когда ты не «я здесь» и не «провожаю» — ты просто есть. Тепло. Живое. Рядом.

Марина обняла Ивана — крепко, обеими руками, всем телом, — и прижалась. И молчала. Не говорила «это был он». Не говорила «всё хорошо». Не говорила «я с тобой». Она просто держала. Тем держанием, которое не берёт и не командует. Тем, которое просто — есть.

Иван дрожал.

Ровно. Мелко. Как дрожит то, что выдержало больше, чем может выдержать. Как дрожит то, что не сломалось — но было близко. Как дрожит то, что услышало то, чего нельзя было слышать, — и всё-таки услышало.

Он не плакал. Мужчины в этом городе не плакали — не потому что не умели, потому что плач был тем, что отнимали первым. Но тело его дрожало — и в этом дрожании было всё, что он не мог сказать. Всё, что он не мог назвать. Всё, что он не мог отпустить.

Марина держала.

Она не говорила «ты — не он». Не говорила «ты — другой». Не говорила «ты — не Кощей». Потому что знала: слова — это то, что можно оспорить. А тело — нельзя. Тело — это то, что есть. И она была. Здесь. Рядом. Тепло. Живое.

И Иван — понемногу — перестал дрожать.

Не потому что поверил словам. Не потому что услышал доказательство. Потому что почувствовал — тело. Живое. Рядом. То, чего у Кощей не было. То, чего у Кощей не будет никогда. То, что нельзя взять. То, что нельзя удержать. То, что просто — есть.

Они стояли долго.

Ночь шла над двором — звёздная, тихая, та, в которой слышно дыхание. Корзина стояла на чурбаках — гусеница, которая станет тем, чем станет. Пёрышко лежало на решётке — рядом с пряжкой, рядом с пеплом. Три вещи. Три отданных. Три — тех, кто не просил платы.

И в этой тишине — в той, где было слышно всё, — Марина сказала. Одно слово.

— Здесь.

Не «я здесь». Не «ты здесь». Просто — «здесь». То, что есть. То, что не надо доказывать. То, что не надо называть.

Иван закрыл глаза.

И — вдохнул. Ровно. Глубоко. Тем дыханием, которому научился в подземелье: когда всё рушится, дыши ровно. Ровное дыхание — это то, что можно дать, когда больше нечего давать.

Он дал.

И — выдохнул.

Сцена 6. Утро. Тень

Рассвет пришёл серым.

Не багряным. Не золотым. Просто — серым. Тем, который бывает, когда ночь кончилась и день ещё не начался. Тем, который не обещает и не пугает. Тем, который просто — есть.

Иван стоял у корзины.

Марина была рядом — в трёх шагах, как стояла всегда. Не держала. Не свидетельствовала. Просто — была. И в этом «была» было всё, что нужно.

Они не говорили о ночи.

Не потому что забыли. Не потому что решили не говорить. Потому что не всё надо называть. Потому что есть вещи, которые — если назвать — станут меньше. Потому что есть вещи, которые живут только тогда, когда их не трогают словами.

Пришли остальные.

Антип — с накладной, в которой в графе «цена» стояло тире. Силантий — с мечом в ножнах, на спине, туда, откуда доставать долго. Капитоныч — слепой, с ладонью, раскрытой поперёк воздуха. Савелий Прохоров — с инструментом на плече, который он принёс с завода. Все — на местах. Все — как было решено.

Иван положил ладонь на медь.

Касаясь. Впервые за главу. Не держал. Не свидетельствовал. Просто — «я здесь». Пятая ступень. Та, которой не было ни в одной книжке. Та, которую он выучил у кувшина с трещиной, который не латят. Та, которую он выучил у пера, которое висело между двумя светами и не держалось ни за что. Та, которую он выучил у матери, которая ушла на восток и не оглянулась.

— Я здесь, — сказал Иван. Тем третьим. Тому, что в решётке.

И перо — гуднуло.

Тем самым. «Я здесь». Тем же, которым гуднуло в свинце, в гнезде, в воздухе над раскрытым хрусталём. Только «здесь» теперь значило другое. «Здесь» значило — небо. «Здесь» значило — дорога. «Здесь» значило — вперёд.

И в этом «здесь» не было ни капли Кошечева.

Корзина поднялась.

Тихо. Так, как отрывается то, что не бежит, а несётся: без рывка, без скрипа, без того, что кричит. Просто — не стало земли. Двор — пошёл вниз. Крыши — пошли вниз. Трубы, швы мостовой, зелёные жилки, которые шли к Огородной, — пошли вниз, всё вместе, всё то, по чему шёл Кощей, — вниз, под ноги, туда, где они остались.

А узор — дёрнулся.

По всей длине труб, по всем швам мостовой, по всем фундаментам, по всему, что лежало и держало, — узор дёрнулся так, как дёргается тот, кто двадцать лет ждал и слышал, как над ним уходят. И в этом дёргании не было ярости — было то, чего Кощей не знал в себе: испуг. Тот, который бывает у того, кто понял, что дорога, по которой он шёл, — не единственная.

Пилот прошёл над зелёной жилкой у двора — той, которая стояла у кромки и ждала.

И жилка не встала.

Узор не летает. Узор идёт по тому, что лежит. И то, что уходило, — не имело ничего, за что можно было дёрнуть: ни фундамента, ни трубы, ни шва, ни камня. Всё то, что было в городе Кощеевым, — осталось под ними. В небе не было ничего Кощеева. И потому узор дёргался внизу — и не мог ничего.

А на носу — Капитоныч.

Он сидел на носу — слепой, лицом туда, где было солнце, — и ладонь его лежала поперёк потока. Того потока, который шёл через небо и который он читал так, как двадцать лет читал графы. И он командовал. Ровно. Конторским тоном. Тем, которым докладывают о недостатке — слово в слово, строка в строку, без того, что в докладах не говорят:

— Вверх. Левее. Облако пропустить, за ним — вихрь.

И — Марина рычажки. Иван — ладонь у меди, свидетельствующий. Антип — накладную, где в графе «цена» стоит тире. Силантий — лицом наружу. Капитоныч — на носу, ладонь поперёк неба.

И — с земли: Пелагея во дворе, ладонь поднята — не вслед. Вверх. В поле. Ефим стоял рядом с ней, держа тетрадь, в которой в графе «кто» уже было «Иван», а в графе «сколько» — тире, и не знал, зачем держит тетрадь, если графа пустая, и держал. Писарь писал своё — и не знал, зачем, и писал. Царь смотрел — и свет из-под города лежал на его сапогах, ничей.

А под городом — в темноте трубы, в изгибе, куда свет дотягивался хуже всего, — сидело то, что ждало.

Кощей не кричал. Не звал. Не угрожал. Он просто — лежал. И слушал. И считал. Он считал, что ученик ушёл — но не считал, что ученик ушёл навсегда. Ученик вернётся. Ученик не может не вернуться. Дорога длинная. Свет уходит. Птица умирает. И когда ученик вернётся

— он вернётся не с пустыми руками. Он вернётся с пером. Или с тем, что от пера останется. И тогда — тогда Кощей будет ждать. Он умеет ждать. Он ждал двадцать лет. Он подождёт ещё.

А Иван — сидел в корзине. И смотрел на восток. Туда, где за перевалом, за облаками, над полем, где лежал тонкий, инейный свет, — стояла бледная птица. И ждала. Не спасения. Света. Своего.

И в этом ожидании — двух ожиданий, её и его, — был весь смысл дороги. Не победа. Не поражение. Просто — дорога. Просто — тот, кто идёт. Просто — тот, кто ждёт.

И где-то далеко, в темноте трубы, в изгибе, куда свет дотягивался хуже всего, — Кощей улыбнулся. Если бы у него было лицо. Если бы у него было, чем улыбаться. Он улыбнулся тем, чем улыбается голод, который знает, что еда вернётся. Потому что еда не может не вернуться. Потому что дорога кончается. А голод — нет.

И — тире.

Конец главы 78.

Глава 79. «Царь против»

Сцена 1. Дворец. Совет. Слово, которое не пишется

Тишина, которой кончилась глава семьдесят восьмая, не ушла.

Но у неё появился запах.

Запах шёл из дворца — не ладана, не воска, не той мёртвой парфюмерии, которой двадцать лет пахли покои, где подписывали бумаги. Пахло бумагой. Старой, сухой, той, которая лежала в казённых книгах двадцать лет и которую теперь вынимали, перелистывали, искали в ней то, чего в ней не было. Пахло чернилами — теми самыми, которыми писали указы, которые никто не читал. Пахло пеплом — тем самым, с подоконника, который лежал горкой и не держал формы.

Царь сидел за столом.

Стол был тот же — дубовый, тяжёлый, с зелёным сукном, которое двадцать лет не меняли, потому что менять сукно — это трата, а трата — это графа, а графа — это то, что царь умел. На столе лежала казённая книга. Открытая. На той странице, где писарь свиты — не Каллистрат, другой, из тех, кто пишет не читая, — записал вчерашним вечером строку: «На Огородной, во дворе Долгопольцевых, строится летающий аппарат. Без указа. Без ведома. Самовольно».

Царь читал эту строку.

Читал её четвёртый раз. Не потому что не понимал — понимал он прекрасно: каждое слово было написано его языком, тем самым, на котором он говорил двадцать лет, тем, кото-

рый знал, как называть вещи так, чтобы они влезали в графы. «Самовольно» — это слово он подписывал тысячу раз. «Без ведома» — это слово он подписывал тысячу раз. «Без указа» — это слово было его жизнью.

И всё-таки он читал строку четвёртый раз, потому что строка не сходилась.

Не с графой — с ним. Двадцать лет он читал такие строки и знал, что делать: «опечатать», «запретить», «приписать», «наказать». Графы были готовы. Слова были готовы. Рука была готова. И рука — не шла.

Он поднял голову.

Перед ним стояли трое. Иван — в том же тулупе, в котором стоял у колодца девять дней, в котором нёс мёртвую птицу через город, в котором отдавал хлеб по дворам. Руки его висели вдоль тела — обожжённые, забинтованные, зажившие и снова горящие. Марина — с книжкой под мышкой. Той самой, в которой было всё: измерения, таблицы, «не перегрев. Ответ», «не знаю где», «идёт». Антип — с накладной в руках. Той самой, в которой графа «цена» была пустой. Не «даром». Не «бесплатно». Пустой.

И — Капитоныч.

Он стоял у двери. Слепой — с той ночи, когда съел пепел и увидел дорогу. Лицом туда, где было окно, потому что слепые не боятся света, слепые боятся темноты, а темнота у него была та, из которой он вышел. Ладонь его лежала поперёк воздуха — на высоте пояса, раскрытая, как раскрыта ладонь того, кто читает не глазами.

Царь смотрел на них.

Двадцать лет он смотрел на людей так: сверху вниз, из-за стола, из-за графы. Люди, которые стояли перед ним, были для него строками — в лучшем случае строками, в худшем — пустыми графами. Он умел читать строки. Он не умел читать людей.

И теперь — не умел.

— Вы строите аппарат, — сказал царь.

Это не был вопрос. Это была строка, прочитанная вслух. Тон ровный. Конторский. Тот самый, которым он читал указы с крыльца, которым он говорил «опечатать» над колодцем, которым он сказал «ты — бывший главный механик. Помолчи».

— Да, — сказал Иван.

Одно слово. Без поклона. Без объяснения. Без того, что говорят те, кто просит разрешения. Просто — да. Так отвечают на то, что и так видно. Так отвечают, когда нечего скрывать — и нечего доказывать.

Царь смотрел на него.

— Без указа, — сказал он. — Без ведома. Самовольно.

— Да, — сказал Иван.

— Ты знаешь, что это значит?

— Знаю.

— Что?

— Что ты хочешь запретить.

Царь замолчал.

Вот здесь — здесь надо остановиться и записать ровно, потому что в этом молчании была вся сцена, вся глава, вся книга. Царь молчал не потому, что не знал, что сказать. Он знал. Он знал тысячи слов — указов, приговоров, распоряжений, — и все они были готовы, лежали в нём, как лежат в столе бумаги, которые не читают, но которые всегда под рукой. Слова были. Рука — не шла.

— Свет, — сказал он наконец. И это слово вышло у него не так, как выходили слова указов. Не ровно. С запинкой. С той запинкой, которая бывает у того, кто говорит то, чего не говорил никогда, и не знает, как это называется. — Свет — государственное достояние.

Тишина.

Марина открыла книжку. Не для записи — для памяти. Так открывают книжку, когда хотят что-то вспомнить, а вспоминать нечего, потому что то, что происходит, не было записано ни разу. Иван не двинулся. Антип — не двинулся. Капитоныч — не двинулся. Только ладонь его, лежавшая поперёк воздуха, чуть повернулась — на волос, на два, — как поворачивается ладонь, которая читает то, что нельзя прочесть глазами.

— Свет — ничей, — сказал Иван.

Тихо. Без нажима. Тем голосом, которым он говорил самое главное: тем, который не спорит, а свидетельствует. Тем, которым он сказал «я не враг» на площади, когда кричал в небо и небо не слышало. Тем, которым он сказал «перо не моё» в амбаре, когда несомое висело само. Тем, которым он сказал «я здесь» — и это «здесь» стало дорогой.

— Ты сам это слышал, — сказал Иван. — Писарь записал. «Свет — ничей». В простой книге, за медяки. Он записал то, что видел. А ты — не подписал.

Царь вздрогнул.

Не телом — тем третьим, которое было у него и которое он двадцать лет не слушал. Потому что Иван сказал правду. Писарь записал. «Свет — ничей». Царь знал эту строку — ему докладывали, ему приносили, ему показывали простую книгу, которую писарь вёл за медяки, не как казённый документ, а как что-то своё, чего нельзя было запретить, потому что запрещать её — значит запрещать то, что видно всем. И он — не подписал. Не потому что не хотел. Потому что не мог. Потому что подписать «свет — ничей» значило подписать то, что у него

отнимало последнее, что у него оставалось: право называть. Право вписывать в графы. Право говорить «моё».

— Свет — государственное достояние, — повторил царь. И голос его дрогнул — на четверть тона. На тот самый зазор, на котором держится вся механика мира: между «почти» и «да». — Я — царь. Всё в моём царстве — моё.

— Ты сам не смог его подписать, — сказал Иван. — Помнишь? Перо не пошло. Рука не пошла. Печать была готова — и не легла. Ты стоял над колодцем и не мог. Это было не слабость. Это было то единственное, что ты сделал правильно за двадцать лет.

Царь смотрел на него.

Долго.

Двадцать лет он смотрел на людей сверху вниз. Теперь — смотрел на человека. Не на подданного. Не на строку. На человека, который стоял перед ним и говорил то, что не влезало ни в одну графу, — и не отводил глаз.

— Я не могу запретить, — сказал царь. И это было первое слово за двадцать лет, которое он сказал не как царь. Он сказал это тихо. Так, как говорят то, чего не говорили никогда. — Я не могу запретить. Но я могу — опечатать.

Он встал.

Встал не резко — медленно, тяжело, как встают те, кто двадцать лет сидел. Стол был между ним и теми, кто стоял. Двадцать лет этот стол был границей: по одну сторону — те, кто приказывает, по другую — те, кто исполняет. Теперь стол стоял между ним и теми, кто уходил. И это было хуже, потому что уходящие не исполняли и не приказывали. Они просто — шли.

— Аппарат — опечатать, — сказал царь. — Стрельцам — в Огородную. Печати — на борт. Слово — моё.

И — слово вышло. Ровно. Конторски. Как выходило двадцать лет. Как выходило всегда. Царь сказал — и услышал себя — и в этом «услышал» было то, чего он не знал: он сказал, и сказанное не стало его. Слово ушло от него — как уходит вода в землю. Не потому что кто-то отнял. Потому что не за что было держаться. Потому что он сказал «опечатать» — и в этом «опечатать» не было ни капли того, что было в нём, когда он стоял на полосе с пеплом в кулаке и не знал, что приказать.

Марина закрыла книжку.

Не резко — тихо, как закрывают книгу, которую дочитали до страницы, где дальше ничего нет. Она не сказала ни слова. Она просто закрыла книжку — и это было её ответом. Не бунт. Не спор. Просто — книжка закрыта. Дальше — не в ней.

Антип положил накладную на стол.

На тот самый стол. Перед царём. Графой вверх — той графой, где стояло тире. Не в графе «сколько». В графе «цена». Пустой. Он положил её так, как кладут счёт, который не будут оплачивать, но который надо показать. Молча. Без поклона. Без слов. Просто — положил. И отошёл.

Капитоныч не двинулся.

Слепой у двери, лицом к окну, ладонь поперёк воздуха. Он не видел царя. Он не видел стола. Он не видел накладной. Он видел то, что видел всегда — то, что нельзя увидеть глазами: дорогу. Облако над перевалом. Вихрь за грядой. Ложбину, по которой птицы шли бы, если бы птицы ходили по небу. И он стоял. И в этом стоянии было всё, что нужно было знать о том, кто остался, кто ушёл и кто ещё не решил.

Царь смотрел на них.

Он стоял за столом — за той самой границей, которая двадцать лет отделяла его от всего. И впервые за двадцать лет он видел то, что было по ту сторону. Не строки. Не графы. Людей. Которые не спорили. Не просили. Не угрожали. Просто — уходили. И в этом уходе было то, чего он не мог ни запретить, ни опечатать, ни подписать: присутствие.

Он сел.

Медленно. Тяжело. Как садятся те, кто двадцать лет стоял. Перед ним лежала накладная — с пустой графой «цена». Рядом — пепел на подоконнике. Рядом — казённая книга, открытая на строке «самовольно». Он смотрел на всё это — и не подписывал.

— Идите, — сказал он.

Одно слово. И это было последнее слово, которое он сказал им. Не приказ. Не разрешение. Не запрет. Просто — идите. Так говорят то, что нельзя удержать.

Стрельцы пошли к Огородной.

Они шли не быстро. Медленно — так, как идут те, кому велели сделать то, чего они не понимают. Их было четверо. Молодые, в серых шинелях, с алебардами, которые двадцать лет висели на стенах и которые они сняли впервые. Они шли по улицам, по которым двадцать лет не ходили пешком, — потому что двадцать лет порядок двигался в ливреях, в крытых, в колоннах. Они шли — и город смотрел на них.

Город не расступался.

Вот что было самое страшное — и самое важное. Город не расступался. Не потому что бунтовал. Не потому что кричал. Не потому что стоял стеной. Город стоял. У своих калиток, на своих местах, у своих дверей — те, кто пёк хлеб, те, кто носил воду, те, кто стоял у кромки. Они не преграждали путь. Они просто стояли — там, где стояли всегда. И стрельцы шли мимо них. По улицам, которые были не пусты.

На полпути — у того самого переулочка, где год назад столкнулись два потока и где погибли трое, — стрельцы остановились.

Не потому что кто-то встал поперёк. Не потому что кто-то сказал слово. Просто — дальше улица была полна. Не толпой — людьми. Они стояли по одному, по двое, у стен, у заборов, у дверей. Они не смотрели на стрельцов. Они смотрели туда, куда шли сами: на Огородную. На двор, где стояла корзина.

Стрельцы стояли.

Молодые. В серых шинелях. С алебардами, которые двадцать лет висели на стенах. Они смотрели на людей — и люди не смотрели на них. И в этом не-смотре было то, чего не понял бы ни один указ: стрельцы не были врагами. Стрельцы были — теми же. Теми, кто пёк хлеб, кто носил воду, кто стоял у кромки. Просто их поставили в строй. И строй — не прошёл. Потому что строй проходит сквозь врага. А сквозь живых — не проходит.

Один из стрельцов — молодой, с лицом, которое двадцать лет смотрело в графы, — опустил алебарду.

Не бросил. Опустил. Тихо, как опускают то, что стало ненужным. И остался стоять. И второй — опустил. И третий. Четвёртый — держал дольше всех. Он смотрел на людей, на улицу, на Огородную — и в его лице было то, что бывает у человека, когда он впервые за двадцать лет видит не приказ, а выбор.

Он опустил алебарду.

И они стояли. Четверо. В переулке, где год назад погибли трое. С опущенными алебардами. Не потому что бунтовали. Потому что не могли пройти. Потому что улица была полна живых, которые просто стояли. И стояние — не преграда. Стояние — это то, сквозь что приказ не проходит. Как не проходит свет сквозь свинец. Как не проходит голод сквозь сытого. Как не проходит мёртвое сквозь живое.

Царь узнал об этом вечером.

Ему доложили — тем же ровным конторским тоном, которым докладывали двадцать лет. «Стрельцы не исполнили. Стояли в переулке. Алебарды опущены». Царь слушал — и не подписывал. Он сидел за столом, перед ним лежала накладная с пустой графой, рядом — пепел на подоконнике, рядом — казённая книга. И он не подписывал.

— Опять, — сказал он.

Одно слово. Не вопрос. Не приказ. Просто — слово, которое он сказал в пустоту, в комнату, в себя.

И — не подписал.

Пепел лежал на подоконнике. Горкой. Разной каждое утро. Не держал формы. И царь смотрел на него — долго, не отводя глаз, — и понимал то, чего не понимал двадцать лет: то, что не держит формы, — сильнее того, что держит. Печати держали форму. Указы держали форму. Гудки держали форму. А пепел — не держал. И всё-таки лежал. И всё-таки — был. И всё-таки — сильнее.

Он закрыл казённую книгу.

Ту самую, на строке «самовольно». Закрыл — тихо, без стука. И оставил её на столе. Не убрал. Не спрятал. Просто — оставил. Так оставляют то, что больше не имеет значения, но что нельзя выбросить, потому что оно — было. Оно — есть. Оно — будет.

И — вышел.

На площадь. Где свет из-под земли лежал на его сапогах — ничей. Где часы на колокольне шли правильно. Где город стоял. И где он — впервые за двадцать лет — стоял вместе с городом. Не над. Не перед. Среди.

Сцена 2. Ночь. Ветер. Тайный вылет

Тишина, которой кончился день, не ушла.

Но у неё появился ветер.

Ветер шёл с востока — тот самый, которого ждали, тот самый, который Ефим считал в тетради, тот самый, который Капитоныч читал ладонью, сидя на носу корзины. Восточный ветер. Тот, который на перевале бывал чаще всех прочих, вместе взятых, и который был нужен, чтобы корзина шла не вбок, не вниз, а вперёд. Тот, который нельзя было поймать, нельзя было удержать, нельзя было вписать в графу, — и который был единственным, что имело значение.

— Сегодня, — сказал Капитоныч.

Он сидел на носу корзины — той самой, которая стояла на чурбаках, на подставках, на четырёх опорах. Слепой. Лицом туда, где было солнце, — а солнца не было, была ночь, — и ладонь его лежала поперёк воздуха. Он читал. Не глазами. Тем, что осталось от пепла. Тем, что не вошло. Тем, что видело, когда глаз не было.

— Сегодня, — повторил он. — Или через месяц. Ветер с востока — три дня. Потом — южный. Южный — не тот. Южный — вбок. Южный — в горы. В горы — нельзя.

Ефим стоял рядом. С тетрадью. Той самой, второй, в которой он написал первую строку после двадцатилетнего перерыва: «Сын ушёл. Тетрадь — у него. Здесь — копия». Он смотрел в тетрадь — не читал, смотрел, — и в этом смотре было то, что бывает у человека, который двадцать лет считал и теперь не знает, что считать. Счёт сходился. Ветер сходился. Прокорм сходился. Вес сходился. Время сходилось. Всё, что можно было измерить, — было измерено. И всё-таки — не хватало. Не хватало того, чего в тетради не было. Не хватало — того, что нельзя измерить.

— Ветер есть, — сказал Ефим. — Свет — есть. Перо — есть. Дорога — есть. Всё — есть.

Он помолчал.

— А страха — нет. Это — плохо.

Он сказал это не Ивану. Не Марине. Не Антипу. Он сказал это себе — тем голосом, которым говорил о том, что нельзя измерить, и потому не говорил никогда. Он сказал это — и замолчал. Потому что страх — это то, что нужно. Не для того, чтобы бояться, — для того, чтобы знать цену. Кто не боится — тот не считает. Кто не считает — тот не бережёт. Кто не бережёт — тот теряет.

— Страх — у меня, — сказал Иван.

Он стоял у корзины. У той самой, которая была гусеницей. У той самой, которая должна была стать тем, чем станет. Руки его висели вдоль тела. Обожжённые. Забинтованные. Зажившие и снова горящие. Он смотрел на корзину — не как на вещь, а как на то, что нужно нести. Так смотрел на перо в подземелье. Так смотрел на гнездо в амбаре. Так смотрел на мёртвую птицу, которую нёс через город.

— Страх — у меня, — повторил он. — Он — есть. Он — со мной. Он — не в тетради.

Марина стояла у рычажков.

Три рычажка — как в амбаре. Подача — открывала решётку жару. Отвод — уводил жар в борта, в осколки, в полотно. Размыкатель — тот, о котором она не сказала Ивану в ту ночь, когда перо кричало. Тот, который выпускает перо в воздух, если перо перегреется. Она стояла — и рука её лежала на третьем. На том самом. На полудюйма от руки.

— Я не дёрну, — сказала она. Ровно. Часовщицки. Как закрывала рычажки. Как записывала «не перегрев. Ответ». — Я не дёрну раньше срока. Я дёрну, когда нельзя не дёрнуть.

И это был её ответ на всё, что было. На цепь, которая была не для птицы. На ночь, когда она сняла руку с рычажка и закрыла короб. На всё, что она умела, — умение снять руку. Только теперь она знала то, чего не знала тогда: рука, которую снимают вовремя, — это не слабость. Это — третий рычажок.

Антип стоял у борта.

С накладной. В графе «цена» — тире. Он держал её так, как держат то, что нельзя потерять, но что нельзя и удержать. Накладная без цены — это не документ. Это — то, чего в конторах не бывает. Это — то, что он вёл впервые за двадцать лет. И он держал её — так, как держал варёжку. Ту самую. С двумя пальцами. Связанную женской рукой. Которую он поднял с мостовой в час давки и которую носил в кулаке все эти дни.

Он положил варёжку на борт корзины.

Не внутрь. На борт — на тот узкий деревянный край, на котором сходятся полёт и земля. Так кладут вещь тому, кто уйдёт и не вернётся: чтобы было чем встретить. Так кладут и тому, кто не уйдёт: чтобы было что взять. Он положил её — и не сказал ничего. Не потому что нечего. Потому что слова были сделаны. Решение шло. Решение шло не в ком-то одном. Оно шло так, как шло всегда: во всех сразу — и ни в одном в отдельности.

Силантий встал на борт.

Не внутрь корзины — на борт. На тот самый край, где заканчивалась корзина и начиналось небо. Лицом наружу. Меч — на спине. Туда, откуда доставать долго. Он не прощался. Богатыри не прощаются. Он встал — и это значило: за бортом — он. Не потому что он умеет летать. Потому что он умеет стоять. А стоять за бортом — это то же, что стоять у двери. Только дверь — не в дом. Дверь — в небо.

Город спал.

Не весь — тот, который спал. Тот, который не спал, — стоял. У кромки. У колодца. У печей. У калиток. Те, кто пёк хлеб, — стояли. Те, кто носил воду, — стояли. Те, кто выходил на площадь и смотрел на свет, — стояли. Они не пришли сюда. Они просто не ушли. Они стояли там, где стояли всегда, — и их стояние было тем, чего не было ни в одном указе, ни в одной графе, ни в одном слове. Стояние. Так стоят не на карауле. Так стоят у постели.

Свет из-под земли лежал на мостовой.

Ровно. Тихо. Без спроса. Целиком. Он лежал на лицах тех, кто стоял, — и лица, которые двадцать лет были серыми от копоти, видели в этом свете собственные руки. И руки были — руки. Не инструменты. Не графы. Не сроки. Руки, которые пекли, носили, держали, отпускали. Руки, которые умели.

Иван подошёл к корзине.

Он положил ладонь на медь — на кромку решётки, туда, где лежало пёрышко. Обгоревшее. Серое. Чёрное по краю. То самое, которое принёс сын вдовы с кромки жара. Рядом с пёрышком — пряжка Капитоныча. Латунная. Чемоданная. С печатью, которую палец знал как родинку. Рядом с пряжкой — горсть царского пепла. Того самого, с подоконника. Три вещи. Три отданных. Ни одна из них не имела цены — и все три лежали вместе, как лежат то, что отдали те, кто не просил платы.

Он положил ладонь на медь.

Не касаясь. На волос. Свидетельствуя. Пятая ступень. Та, которой не было ни в одной книжке. Та, которую он выучил у кувшина с трещиной. Та, которую он выучил у пера, которое висело между двумя светами. Та, которую он выучил у матери, которая ушла на восток и не оглянулась.

— Я здесь, — сказал он.

Тем третьим. Тому, что в решётке. Тому, что в пёрышке. Тому, что в пряжке. Тому, что в пепле. Всем трём — сразу. Одним словом. Одной нотой.

И — перо гуднуло.

Тем самым. «Я здесь». Тем же, которым гуднуло в свинце, в гнезде, в воздухе над раскрытым хрусталём. Только «здесь» теперь значило другое. «Здесь» значило — небо. «Здесь» значило — дорога. «Здесь» значило — вперёд.

Марина открыла рычажки.

Три. По одному. Медленно. Как открывала их в амбаре — в ту ночь, когда перо висело между двумя светами и гнездо раскрылось само. Подача. Отвод. Размыкатель — на полудюйма от руки. Она не держала его. Она просто открыла. И рука её осталась рядом — на волос, на два. Так, как лежит рука того, кто решил не командовать.

Корзина поднялась.

Тихо. Так, как отрывается то, что не бежит, а несётся: без рывка, без скрипа, без того, что кричит. Просто — не стало земли. Двор — пошёл вниз. Крыши — пошли вниз. Трубы, швы мостовой, зелёные жилки, которые шли к Огородной, — пошли вниз, всё вместе, всё то, по чему шёл Кощей, — вниз, под ноги, туда, где они остались.

А узор — дёрнулся.

По всей длине труб, по всем швам мостовой, по всем фундаментам, по всему, что лежало и держало, — узор дёрнулся так, как дёргается тот, кто двадцать лет ждал и услышал, как над ним уходят. И в этом дёргании не было ярости — было то, чего Кощей не знал в себе: испуг. Тот, который бывает у того, кто понял, что дорога, по которой он шёл, — не единственная.

Пилот прошёл над зелёной жилкой у двора — той, которая стояла у кромки и ждала.

И жилка не встала.

Узор не летает. Узор идёт по тому, что лежит. И то, что уходило, — не имело ничего, за что можно было дёрнуть: ни фундамента, ни трубы, ни шва, ни камня. Всё то, что было в городе Кощеевым, — осталось под ними. В небе не было ничего Кощеева. И потому узор дёргался внизу — и не мог ничего.

А на носу — Капитоныч.

Он сидел на носу — слепой, лицом туда, где было солнце, — и ладонь его лежала поперёк потока. Того потока, который шёл через небо и который он читал так, как двадцать лет читал графы. И он командовал. Ровно. Конторским тоном. Тем, которым докладывают о недостатке — слово в слово, строка в строку, без того, что в докладах не говорят:

— Вверх. Левее. Облако пропустить, за ним — вихрь.

И — Марина рычажки. Иван — ладонь у меди, свидетельствующий. Антип — накладную, где в графе «цена» стоит тире. Силантий — лицом наружу. Капитоныч — на носу, ладонь поперёк неба.

Город остался внизу.

Сцена 3. Крыша. Прощание. Страница сорок три

Крыша дома Долгопольцевых была плоская — не по замыслу, а по бедности: скат, который двадцать лет не чинили, просел и стал ровным, как площадка. На этой площадке стояли двое. Ефим и Пелагея. Они не были там случайно. Они знали. Они не спрашивали — они ждали.

Иван поднялся на крышу по лестнице, которую Ефим сколотил двадцать лет назад, когда дом ещё был домом. Лестница скрипела — как скрипело всё в этом доме, — и в этом скрипе было то, что бывает у вещей, которые знают, что их используют в последний раз.

Ефим сидел на скате.

Не стоял. Сидел — потому что ноги у него были живые, но подниматься на крышу было тяжело, и он это знал, и не стыдился. Он сидел на скате, держа тетрадь — ту самую, вторую, в которой написал первую строку после двадцатилетнего перерыва. «Сын ушёл. Тетрадь — у него. Здесь — копия». Он держал её так, как держат то, что нельзя отдать, но что нельзя и оставить. И смотрел на сына.

Пелагея стояла.

Стояла у трубы — той самой, которая двадцать лет дымила и которая теперь не дымила, потому что дом остыл. Она стояла — и руки её были те самые, которые сон показал раскрытыми над полем. Старые. С мозолями. Которые держали каравай, косу, руку обожжённую. Которые держали всё, что держали, — и которые теперь ничего не держали. Раскрытые. Над полем. Над дорогой. Над сыном.

Иван поднялся. Остановился. Не подошёл сразу — потому что подойти сразу значило бы признать, что это — прощание. А прощание — это то, чего он не умел. Двадцать лет он не прощался. Двадцать лет он держал. Держал перо, держал медь, держал гнездо, держал всё, что можно было держать. И теперь — не держал. Теперь — отпускал. И отпускать — было тяжелее, чем держать. Отпускать — это то, чего не учат. Отпускать — это то, что нельзя выучить. Отпускать — это то, что делают, когда нельзя не делать.

— Сядь, — сказал Ефим.

Одно слово. Не «иди сюда», не «обними меня», не «прости». Просто — сядь. Так говорят с тем, кто пришёл не за словами. Так говорят с тем, кто пришёл за тем, что нельзя сказать.

Иван сел. Рядом. На скат. На тот же самый скат, на котором сидел Ефим, когда Иван был мальчишкой и когда они вместе смотрели на звёзды — до того, как всё началось. До гудков. До смен. До пера. До Кощея. До всего.

Они сидели молча.

Долго. Так, как умеют молчать те, кто знает друг друга двадцать лет. Так, как молчал Ефим двадцать пять лет — не потому что нечего было сказать, потому что сказать было нечем. Так, как молчал Иван в подземелье — не потому что перо молчало, потому что перо молчало, а он — слушал.

Первым сказал Ефим.

— Там, куда летишь, мои чертежи не помогут.

Тихо. Без нажима. Тем голосом, которым говорил о том, что нельзя измерить. Тем голосом, который чинил часы и который называл Иван «Ванька».

— Знаю, — сказал Иван.

— Там нет латуни. Нет слюды. Нет меди. Нет того, что я умею. — Ефим смотрел не на сына — на тетрадь. На ту, которую держал. — Там — поле. Там — иней. Там — свет, который рассеялся. Там — то, чего нельзя измерить.

— Знаю, — сказал Иван.

— Но они напомнят, кто ты.

Ефим поднял голову. Посмотрел на сына. Впервые за книгу — прямо. Не через руки, не через чертежи, не через молчание. Прямо — глазами, которые двадцать пять лет смотрели в тетрадь и которые теперь смотрели в сына.

— Ты — не образец, — сказал Ефим. — Ты — не источник. Ты — не графа. Ты — не то, что записано в чертежах с кровью на полях. Ты — Иван. Сын. Кузнец. Механик. Тот, кто держал перо двадцать лет и не отпустил. Тот, кто умеет держать. И тот, кто теперь учится отпускать. Вот кто ты. И это — не в тетради. Это — в тебе. Но тетрадь — напомнит. Потому что тетрадь — это я. А я — это ты.

Пауза.

— И если Кощей снова придёт, — сказал Ефим. — Открой страницу сорок три.

Он сказал это тише. Так, как говорят то, что нельзя сказать громко, потому что громко — это для тех, кто не понимает.

— Я написал там, как его прогнал. Не технически — по-человечески.

Иван смотрел на тетрадь. На ту, которую Ефим держал в руках. На страницы, которые были покороблены — от времени, от огня, от того, что их держали двадцать лет. И он понял — телом, раньше головы, тем третьим, которым понимал всё: страница сорок три — это не чертёж. Это — запись. О том, как живой человек прогнал мёртвое — не силой, не хитростью, а тем, что остался человеком.

Он взял тетрадь.

Не вырвал. Не попросил. Просто — взял. Так, как берут то, что отдают: с открытой ладонью, без хватки, без того, что держит. Ефим разжал пальцы — медленно, как разжимают то, что держали долго, — и тетрадь легла в ладонь Ивана. Тёплая. От руки Ефима. От двадцати лет.

— Я не читаю, — сказал Иван. — Пока не припечёт.

— Не припечёт, — сказал Ефим. — Прижмёт. Так, как прижало меня. Когда некуда будет идти и нечем будет держаться — тогда и прочтёшь. Тогда — поймёшь.

Иван положил тетрадь за пазуху.

Туда, где слюда Марины. Туда, где хлеб Пелагеи. Туда, где сердце. Тетрадь легла — и в этом лежании было то, чего не было ни в одном чертеже: вес. Не тяжёлый — тот самый, который не тяготит. Тот, который — дома. Тот, который — с собой. Тот, который — не графа.

Пелагея подошла.

Она не говорила. Она не умела говорить о том, что нельзя измерить. Она умела — делать. И она сделала то, чего в этом городе не делали двадцать лет. Она перекрестила сына.

Не быстро. Не наспех. Медленно — как делали когда-то, давно, до всего. Три пальца — ко лбу, к груди, к правому плечу, к левому. Старое движение. Забытое. Живое. В этом городе двадцать лет не крестились: креститься было нельзя, потому что вера — это то, что не влезает в графу. Вера — это то, что не подписать. Вера — это то, что не имеет цены. И Пелагея крестила.

Она не плакала.

Вот это надо записать ровно, потому что в этом — вся Пелагея, вся мать, вся женщина, которая двадцать пять лет молчала и которая теперь не молчала, но и не плакала. Она не плакала, потому что плач — это то, что отнимает первым. Она не плакала, потому что плач — это для тех, кто остаётся. А она — не оставалась. Она — шла. Не телом. Тем, которое — с сыном. Тем, которое — в сыне. Тем, которое — мать.

— Я здесь, — сказала Пелагея.

Те самые слова. Те самые, которые Иван говорил перу. Те самые, которые он говорил в подземелье, в амбаре, в небе. Те самые, которые он выучил у кувшина с трещиной. Те самые, которые он выучил у матери, которая ушла на восток и не оглянулась.

Только теперь их говорила она. Не «вернись». Не «будь осторожен». Не «я буду ждать». Просто — «я здесь». То, что есть. То, что не надо доказывать. То, что не надо называть. То, что — рядом. Всегда. Везде. Даже когда далеко.

Она положила в узел Ивана закваску.

Кусок теста из квашни — той самой, которая жила двадцать пять лет и которую кормили мукой и водой каждое утро, раньше гудка, раньше смены, раньше всего. Кусок теста, который дышал. Который был — живой.

— Дойдёшь — заквась, — сказала Пелагея. — Там, где заквасишь, — будет дом.

Это не метафора. Это — инструкция. Живое нужно кормить — и тогда оно накормит. Живое нужно носить с собой — и тогда оно будет домом. Дом — не стены. Дом — не крыша. Дом — то, что растёт. Дом — то, что дышит. Дом — закваска.

Иван взял закваску. Положил в узел. Рядом с хлебом. Рядом с варешкой. Рядом с рогаткой Ефима. Рядом с листом Марины. Узел стал тяжелее — и легче. Тяжелее — от веса. Легче — от того, что вес был не мёртвый.

Он встал.

Пелагея стояла. Ефим сидел. Иван стоял между ними — и в этом стоянии было всё, что было: двадцать лет молчания, двадцать лет огня, двадцать лет держания. И — отпускание. То, которое только начиналось. То, которое нельзя было выучить. То, которое делают, когда нельзя не делать.

— Иди, — сказала Пелагея.

Одно слово. И это было последнее, что она сказала. Не «прощай». Не «до свидания». Просто — иди. Так говорят то, что нельзя удержать. Так говорят то, что нужно отпустить. Так говорят — матери.

Иван спустился с крыши.

Ефим остался сидеть. Пелагея осталась стоять. Они не махали вслед. Машут те, кто не верит, что уходят. А эти — верили. И потому просто стояли. И в этом стоянии было то, чего не было ни в одном прощании: присутствие. То самое. То, которое — рядом. Всегда. Везде. Даже когда далеко.

На крыше осталась вторая тетрадь.

Та, которую Ефим не отдал. Та, в которой он написал первую строку после двадцатилетнего перерыва. «Сын ушёл. Тетрадь — у него. Здесь — копия». Он открыл её — после того, как Иван спустился. После того, как шаги стихли. После того, как всё, что можно было сказать, — было сказано. И написал вторую строку. Ровным почерком. Тем, которым не выдаёт того, кто пишет:

«Летит. Ветер — восточный. Свет — с ним. Тетрадь — у него. Если не вернётся — читать здесь. Чтобы было что читать.»

И это не пессимизм. Это — страховка. Ефим знал цену словам. Слова должны остаться — даже если тот, кто их носит, не вернётся. Слова должны остаться — чтобы было что читать. Чтобы было что помнить. Чтобы было — дом.

Сцена 4. Страница сорок три. Чтение в небе

Корзина шла над облаками.

Ночь была длинная — та, которая бывает на перевале: не чёрная, а синяя, с теми звёздами, которые видны только там, где нет копоты, нет дыма, нет ничего, что застит небо. Капи-

тоныч сидел на носу — слепой, лицом туда, где будет солнце, — и ладонь его лежала поперёк потока. Он читал. Он командовал. Ровно. Конторским тоном.

— Вверх. Левее. Облако — пропустить. За облаком — вихрь. Вихрь — держать. В вихре — не поворачивать.

Иван сидел у борта.

Он достал тетрадь. Ефимову. Ту, которую взял на крыше. Ту, которую не читал. Ту, которую — прижало. Не припекло — прижало. Так, как прижало Ефима. Когда некуда было идти и нечем было держаться.

Он открыл страницу сорок три.

Страница была не такая, как другие. Другие были ровные — столбцы, графы, цифры, измерения. Эта была — кривая. Неровная. Та, которую писали не для архива. Та, которую писали для себя. Та, которую писали в ту ночь, когда бежали из подземелья.

Иван читал.

«Я не помню, как вышел. Помню только, что не бежал. Я шёл.»

Первая строка. Простая. Без нажима. Та, которую писали не для того, чтобы кто-то прочёл, — для того, чтобы самому не забыть.

«Он кричал вслед — через железо, через трубы, через всё, чем он был. Он говорил: „Ты — мой. Ты — мои руки. Ты — не уйдёшь“.»

Иван читал. И в этом чтении было то, что он знал. То, что он слышал. То, что он пережил — в ту ночь, когда голос говорил «Ваня» и когда он закричал и тряс головой.

«Я не отвечал. Я шёл.»

Он читал.

«И он замолчал. Не потому что я победил. Потому что я не отвечал. Мёртвое не может идти за тем, кто не отвечает. Мёртвое держится за ответ. Если ответа нет — держаться не за что.»

Иван остановился.

Он прочёл эту строку — и перечёл. Медленно. По словам. Как часовщик читает показания — не торопясь, чтобы не пропустить ни одной цифры. Мёртвое держится за ответ. Если ответа нет — держаться не за что.

Он поднял голову.

Ночь. Звёзды. Облака. Ветер. Корзина. Капитоныч на носу. Марина у рычажков. Антип с накладной. Силантий на борту. Перо — на решётке. Пёрышко. Пряжка. Пепел. Всё — на месте. Всё — летит.

И в этой тишине — голос.

Тот самый. Тихий. Тёплый. Ласковый. Тот, который говорил «Ваня». Тот, который знал тебя лучше, чем ты сам. Тот, который предлагал дом, число, вечность. Тот, который обещал вернуть свет. Тот, который говорил треть правды — и которая была тяжелее целой лжи.

«Ваня.»

Иван не ответил.

Он не закричал. Не заткнул уши. Не тряс головой. Он сделал то, что выучил на странице сорок три. То, что делал Ефим двадцать лет назад. То, что делали те, кто уходил — не бежал. Он — молчал.

«Ваня. Ты летишь не туда.»

Он смотрел на восток. Дышал ровно. Тем дыханием, которому научился в подземелье: когда всё рушится, дыши ровно. Ровное дыхание — это то, что можно дать, когда больше нечего давать.

«Ваня. Ты не успеешь. Она умирает. Свет уходит. Город кончится. Вернись. Дай мне перо. Я верну свет.»

Он молчал.

«Ваня. Ты — не другой. Ты — я. Ты — тот же. Ты — тот, кто не сможет отпустить. Ты — тот, кто будет держать. Ты — тот, кто станет мной.»

Он молчал.

«Ваня. Ответь.»

И — перо гуднуло.

Тем самым. «Я здесь». Тем же, которым гуднуло в свинце, в гнезде, в воздухе над раскрытым хрусталём. Только «здесь» теперь значило другое. «Здесь» значило — небо. «Здесь» значило — дорога. «Здесь» значило — вперёд. И в этом «здесь» не было ни капли Кошечкина.

Голос замолчал.

Не потому что был побеждён. Потому что — не за что было держаться. Мёртвое держится за ответ. Если ответа нет — держаться не за что. Как Ефим двадцать лет назад. Как Иван теперь. Мёртвое отступает не от силы. Мёртвое отступает от молчания.

Тишина.

Настоящая. Та, в которой слышно, как дышит небо. Та, в которой слышно, как дышит корзина. Та, в которой слышно, как дышит перо — ровно, тихо, тем самым. Иван закрыл тетрадь. Положил за пазуху. Туда, где слюда. Туда, где хлеб. Туда, где закваска. Туда, где — дом.

Он смотрел на восток.

Там — за перевалом, за облаками, над полем, где лежит тонкий, инейный свет, — стояла бледная птица. И ждала. Не спасения. Света. Своего.

Сцена 5. Земля. Город без них. Утро

Тишина, которой кончилась ночь, не ушла.

Но у неё появился цвет.

Цвет был — серый. Тот самый, который бывает, когда ночь кончилась и день ещё не начался. Тот, который не обещает и не пугает. Тот, который просто — есть. И в этом цвете город просыпался.

Огородная была пуста.

Корзина — стояла. На чурбаках. На четырёх опорах. Там же, где стояла. Но — не было того, что было. Не было пёрышка на решётке. Не было пряжки Капитоныча. Не было горсти царского пепла. Не было тетради Ефима. Не было слюды Марины. Не было хлеба Пелагеи. Не было варежки Антипа. Всё — взято. Всё — отдано. Всё — с ними.

На чурбаках остались вмятины.

Только вмятины — от веса, который давил. От тяжести, которая стояла. От того, что было — и что ушло. Вмятины — как след на копотии: шаг, пауза, шаг. След того, кто умел ходить. След того, кто умел стоять. След того, кто умел — уходить.

Город просыпался.

Не по гудку — гудков не было. Не по смене — смен не было. По темноте, по усталости, по тому, что тело знает без часов. И в этом просыпании было то, чего город не знал двадцать лет: тишина. Не мёртвая. Не полная. Живая. Та, которая бывает в доме, где все спят. Та, которая бывает в поле, куда вышли и увидели, что небо — целиком. Та, которая — есть.

Вдова вышла на пепелище своего дома.

Она вышла — как выходила всегда, с той ночи, когда дом сгорел. И увидела: корзины нет. Нет — не потому что убрали. Потому что — улетела. Она стояла — и смотрела в небо. Долго. Не махала. Не плакала. Просто — смотрела. И в этом смотре было то, что бывает у тех, кто уже потерял всё, кроме ребёнка, — и кто знает, что ребёнок — не потеря.

Сын стоял рядом.

Он держал её за руку — так, как держал в ту ночь, когда они стояли на ступеньках чужого погребя и когда он не дёргался. Он смотрел в небо — так, как смотрят дети: широко, во весь глаз, всем тем, что в них есть. И — не спрашивал. Не спрашивал «куда». Не спрашивал «зачем». Не спрашивал «вернутся ли». Он просто — смотрел. И в этом смотре было то, чего не было у взрослых: вера. Та, которую не отнимают. Та, которую не подписывают. Та, которая — есть.

Антип стоял у пустых чурбаков.

С пустыми руками. С варежкой в кулаке. Той самой. С двумя пальцами. Связанной женской рукой. Давно. Он не поднял её на борт. Оставил. Потому что варежка — память. А память не летит. Память — лежит. Он стоял — и смотрел на вмятины. На то, что осталось. На то, что было. И в этом смотре было то, что он не назвал бы и сам: присутствие. Он был — здесь. Не потому что не мог уйти. Потому что — надо было остаться. Кто-то должен — стоять. Кто-то должен — помнить. Кто-то должен — держать варежку.

Капитоныч — не стоял. Его не было. Он — летел. Слепой. На носу. Лицом туда, где солнце. Ладонь поперёк потока. Он читал небо — так, как двадцать лет читал графы. И небо — читалось.

Силантий — не стоял. Его не было. Он — летел. На борту. Лицом наружу. Меч на спине. Туда, откуда доставать долго. Он стоял там, где заканчивался борт. И это значило: за бортом — он.

Марина — не стояла. Её не было. Она — летела. У рычажков. Рука на третьем. На том самом. На полудюйма от руки. Она не дёргала. Она держала руку рядом. Так, как держат то, что нельзя держать. Так, как держат — отпуская.

Иван — не стоял. Его не было. Он — летел. С тетрадью за пазухой. С закваской. С хлебом. С тем, что — дом. Он летел — не назад. Вперёд. К той, которая ждала. К той, которая — бледная. К той, которая — свет.

Ефим и Пелагея стояли на крыше.

Они не махали. Они просто стояли. Пелагея держала руку Ефима — обожжённую, забинтованную Пелагеиными бинтами, тонкими, намотанными не от беды, а от привычки к беде. Ефим держал вторую тетрадь — ту, в которой написал: «Сын ушёл. Тетрадь — у него. Здесь — копия. Летит. Ветер — восточный. Свет — с ним. Если не вернётся — читать здесь.» Он держал её так, как держат то, что нельзя отдать, но что нельзя и оставить. Он держал её — и смотрел в небо. Туда, где за облаками, за перевалом, за всем, что можно было измерить, — летела точка. Маленькая. Серая. Уродливая. Гусеница, которая собирается стать тем, чем станет.

Царь стоял на площади.

Он вышел — как вышел вчера. Без свиты. Без ковра. Пешком. Он стоял — и смотрел в небо. Пепел лежал на подоконнике — во дворце, в ящичке, который он оставил открытым. Горкой. Разной каждое утро. Не держал формы. И царь смотрел в небо — и не подписывал.

Не отдавал приказ. Не говорил «опечатать». Он просто стоял. И в этом стоянии было больше царя, чем во всех указах, которые он подписал за двадцать лет. Потому что царь — не тот, кто приказывает. Царь — тот, кто стоит. Когда все ушли. Когда все вернутся. Когда — надо.

Писарь сидел у кромки.

Каллистрат. Тот, который писал за медяки. Тот, у которого была своя простая книга — не казённая. Он сидел — и писал. В ту самую книгу. На той самой странице, где было: «Свет — ничей. Скамья — два медяка. Товар — казённый. Царь дал пепел. Цены нет.» Он дописал последнюю строку. Ту, которую не читал вслух. Ту, которую не показывал никому. Ту, которую — писал.

«Улетели. Тайно. Царь против. Свет — с ними.»

И под строкой — тире.

Тире, которое говорило не «не пересчитывать» и не «дальше — не в этой книге». Тире, которое говорило: дальше — на дороге.

Сцена 6. Финал. Небо. Перевал. Тире

Корзина шла над облаками.

Рассвет — серый на востоке, который становился золотым, — вставал за перевалом. Впереди была гряда — та самая, за которой начиналось поле. Поле, где лежал тонкий, инейный свет. Поле, где стояла бледная птица. Поле, где ждала — не спасения. Света. Своего.

Иван стоял на носу.

Рядом — Капитоныч. Слепой. Лицом туда, где солнце. Ладонь поперёк потока. Он читал воздух — так, как двадцать лет читал графы. И — командовал. Ровно. Конторским тоном. Тем, которым докладывают о недостатке — слово в слово, строка в строку.

— Вверх. Левее. Облако пропустить, за ним — вихрь.

Марина стояла у рычажков.

Рука на третьем — на том самом, о котором она не сказала Ивану в ту ночь, когда перо кричало. Теперь она говорила о нём вслух. Не шёпотом. Не тайно. Прямо.

— Если перо перегреется — я дёрну. Когда нельзя не дёрнуть.

Антип стоял у борта.

С накладной. В графе «цена» — тире. Он не считал. Он вписывал. Вписывал то, что видел: облака, вихрь, свет. И внизу — строку, которую никто не читал вслух: «Дорога. Цены нет.»

Силантий стоял на борту.

Лицом наружу. Меч на спине. Туда, откуда доставать долго. Он не вынимал меч. Богатырь не тот, кто побеждает. Богатырь — тот, кто стоит. И он стоял там, где заканчивался борт.

Перо гудело.

Тихо. Ровно. «Я здесь». Тем самым. Только «здесь» теперь — небо. И в этом «здесь» — всё: и подземелье, и амбар, и гнездо, и цепь, и «я здесь — держу», и «я здесь — смотрю», и «я здесь — ты уходишь», и «я здесь — провожаю». Все ступени. Все — в одной ноте.

Корзина шла над облаками.

Внизу — город. Маленький. Живой. Свет из-под земли лежал на нём ровно, без спроса, целиком. А впереди — перевал. За перевалом — поле. Над полем — бледная птица. И ждала. Не спасения. Света. Своего.

Иван смотрел вперёд.

Он не знал, успеет ли. Не знал, хватит ли теплоты. Не знал, вернётся ли. Он знал только одно — то, что знал с той ночи, когда перо легло на ладонь: перо нужно не вернуть. Его нужно отдать. Теплотой. Той, которой легла она — на поле за перевалом, тонко, как иней. Иней собирает солнце той же теплотой, которой лёг. Не руками. Не инструментом. Теплотой.

А теплота — не у него. Теплота — с ним. Она идёт рядом. Как идут те, кто отдал: Пелагея — квашнёй, Ефим — тетрадь, Антип — варежкой, Марина — листом, Силантий — ладонью, которая отнялась, город — молчанием. Теплота — не то, что у одного человека. Теплота — то, что есть у тех, кто отдал.

И в этом — весь расчёт, который Марина не смогла сделать, потому что расчёт был не в ней.

У кромки — Марина открыла книжку.

На пустой странице — той, после которой ничего не было, потому что всё, что было, уже было вписано, — она написала одно слово. Не измерение. Не определение. Не строку с тире. Слово:

«Идёт».

И закрыла книжку — не торопясь, как закрывают книгу, которую дочитали до того места, где дальше пишет не автор, а время.

В поле за перевалом — иней лежал тонко.

Так, как лежит то, что легло той теплотой, которой легло: не коркой, не коростой, не тем, что убивает траву, — тем, что ложится на всё живое ровно, как одеяло, и держит то, что под

ним, до той минуты, когда солнце возьмёт своё обратно той же теплотой. И поле это не было мёртвым. Поле это было — ждущим.

И бледная птица подняла голову.

Второй раз за утро — тем третьим, без звука. По дороге, которая шла от города к перевалу, шёл тот, кто умеет отдавать до конца. Она не слышала шагов. Она не видела фигуры — полдня пути лежало между ними, лес, камень, всё, что не видно. Она знала.

Так знает то, что живое, — не ушами и не глазами.

Корзина шла над облаками. Внизу — город. Впереди — перевал. За перевалом — поле. Над полем — свет. И — птица. И — тот, кто летел. И — тишина. Та самая. Не мёртвая. Не полная. Живая. Та, в которой слышно, как дышит небо. Та, в которой слышно, как дышит перо. Та, в которой слышно, как дышит — дорога.

И — тире.

Тире, которое говорило не «не пересчитывать» и не «далее — не в этой книге». Тире, которое говорило: далее — на дороге.

Конец главы 79.

Глава 80. «Полёт»

Сцена 1. Подъём. Город под ногами

Тишина, которой кончилась глава семьдесят девятая, не ушла.

Но у неё появилась высота.

Это была не та тишина, что стояла в амбаре в первую ночь, — не пауза между гудением и гудением, не воздух, в котором ждут. И не та, что легла на город после колыбельной из колодца, — не последняя нота, которая повисает и ждёт продолжения. И не та, что была на крыше, когда Ефим сидел со второй тетрадью и смотрел, как сын спускается по скрипучей лестнице, — не прощание, которое уже случилось и которое ещё не кончилось. Это была тишина, которая приходит, когда земля перестаёт быть под ногами. Тишина, в которой нет ничего, кроме ветра. Тишина, в которой слышно, как дышит тот, кто рядом, и как дышит тот, кто внутри.

Корзина поднялась.

Не рывком — так, как отрывается то, что не бежит, а несётся: без скрипа, без крика, без того, что рвётся. Просто — не стало земли. Просто — чурбаки, на которых стояла корзина, ушли вниз. Просто — двор Долгопольцевых пошёл вниз, медленно, тяжело, как идёт вода в затопленном погребе, только наоборот: не поднимаясь — опускаясь. Просто — крыша дома, на которой сидели двое, стала крышей, которую видно сверху, и на этой крыше стояли Ефим

и Пелагея, и не махали. И в этом не-махании было всё, что нужно было знать о них: они не провожали. Провожают те, кто не верит, что уходят. А эти — верили. И потому просто стояли.

Иван стоял у меди.

Ладонь его лежала на волос от кромки решётки — той медной решётки, которую Марина поставила под брюхом корзины, той решётки, на которой лежало пёрышко. Обгоревшее. Серое. Чёрное по краю. То самое, которое принёс сын вдовы с кромки жара и которое никто не взял, потому что не знали, что с ним делать. Рядом с пёрышком лежала пряжка Капитоныча — латунная, чемоданная, с печатью, которую палец знал как родинку. Рядом с пряжкой — горсть царского пепла. Того самого, с подоконника, который двадцать лет держал форму его власти. Три вещи. Три отданных. Ни одна из них не имела цены — и все три лежали вместе, как лежат то, что отдали те, кто не просил платы.

Иван не смотрел вниз.

Это надо записать ровно, потому что в этом «не смотрел вниз» была вся его суть, вся его дорога, вся его двадцатилетняя выучка. Двадцать лет он не смотрел вниз — в подземелье, где перо лежало в держателе, где не было ни неба, ни земли, ни того, что можно было увидеть. Двадцать лет он смотрел на перо — на то, что было перед ним, на то, что нужно было нести. И теперь, когда корзина поднялась над городом, когда под ногами была бездна, когда всё, что было его жизнью — двор, амбар, Огородная, площадь, завод, — лежало внизу, маленькое, как на ладони, — он не смотрел вниз. Он смотрел на перо. На пёрышко. На пряжку. На пепел. На то, что было — с ним. И на восток. Туда, где за перевалом, за облаками, над полем, где лежал тонкий, инейный свет, — стояла бледная птица. И ждала. Не спасения. Света. Своего.

Марина стояла у рычажков.

Три рычажка — как в амбаре. Подача — открывала решётку жару. Отвод — уводил жар в борта, в осколки, в полотно. Размыкатель — тот, о котором она не сказала Ивану в ту ночь, когда перо кричало. Тот, который выпускает перо в воздух, если перо перегреется. Теперь она говорила о нём вслух. Не шёпотом. Не тайно. Прямо. «Если перо перегреется — я дёрну. Когда нельзя не дёрнуть». И это был её ответ на всё, что было: на цепь, которая была не для птицы. На ночь, когда она сняла руку с рычажка и закрыла короб. На всё, что она умела, — умение снять руку. Только теперь она знала то, чего не знала тогда: рука, которую снимают вовремя, — это не слабость. Это — третий рычажок.

Она держала Ивана за руку.

Не для поддержки — он не нуждался в поддержке. Не для того, чтобы удержать — удержать его было нельзя, и она это знала. Она держала его за руку, потому что хотела чувствовать его рядом. Потому что рука — это то, что есть. Потому что тепло — это то, что не надо доказывать. Потому что «я здесь» — это не слова. Это — ладонь. Ладонь в ладони. Живое в живом.

Силантий стоял на борту.

Лицом наружу. Меч — на спине, туда, откуда доставать долго. Он не вынимал его. Богатырь не тот, кто побеждает. Богатырь — тот, кто стоит. И он стоял там, где заканчивался борт. За бортом — он. За бортом — небо. За бортом — бездна. И он смотрел в эту бездну.

И — впервые за всю книгу — он был в восторге.

Это надо записать ровно, потому что это было важно, потому что это было ново, потому что этого не было никогда. Силантий — богатырь, который стоял против тени, против латунных слуг, против Швондовых, который знал врагов на нож, на лом, на силу, — Силантий смотрел вниз, на город, который уменьшался, и его плечи, обычно напряжённые, обычно готовые к удару, обычно сжатые той стеной, которой он был, — его плечи были расслаблены. Его лицо, обычно каменное, обычно непроницаемое, обычно то, которое не выдаёт того, что внутри, — его лицо было открыто. И в этом лице было то, чего не было никогда: чистый, беспричинный, детский восторг.

Он видел город сверху.

Он видел то, чего не видел с земли. С земли город был клеткой — прямыми улицами, которые не предусматривали, что людям понадобится бежать в разные стороны. С земли город был решёткой — трубами, гудками, сменами, которые шли сверху и не спрашивали. С земли город был стеной — той стеной, которую он держал, против которой стоял, которую защищал. Но с высоты — с высоты, где не было ни стен, ни решёток, ни клеток, — город был другим.

Город был — узором.

Силантий видел переплетение улиц — не прямых, а живых, тех, которые шли от дома к дому, от двора к двору, от колодца к колодцу. Он видел реку, которая текла через город, — ту самую реку, которую он знал с детства, но которую никогда не видел целиком. Он видел мосты, которые соединяли берега. Он видел площадь, которая была не площадью, а сердцем — тем местом, где сходились все дороги. Он видел Огородную — тонкую нить, которая шла от центра к краю. Он видел завод — чёрное пятно, которое было не угрозой, а памятью. Он видел кромку — золотое свечение, которое шло из-под земли и которое с высоты было видно как маленькое, но живое пятно в центре мёртвого города.

И он видел людей.

Не толпу — не ту толпу, которая бежала в разные стороны, которая давилась в переулках, которая умирала под ногами. Он видел людей — по одному, по двое, у калиток, у дверей, у колодцев. Они стояли. Они просто стояли — там, где стояли всегда. И в этом стоянии было то, чего не было ни в одной клетке: присутствие. Живое. Рядом.

Силантий смотрел вниз — и впервые за всю книгу улыбнулся.

Не той улыбкой, которой улыбаются, когда побеждают. Не той, которой улыбаются, когда всё кончилось. А той, которой улыбаются, когда видят то, чего не видели никогда, — и понимают, что это было всегда. Город был не клеткой. Город был — домом. Домом, который они покидали. Домом, к которому они вернутся. Домом, который они несли с собой.

Антип стоял у борта.

Спиной к борту. Лицом к корзине. И он был бледен.

Это надо записать ровно, потому что в этой бледности была вся его суть, вся его торговцевская анатомия, всё то, что он выучил за двадцать лет и что теперь рушилось. Антип не смотрел вниз. Он не мог смотреть вниз. Он стоял спиной к бездне, лицом к тому, что было внутри корзины, и держался за накладную — ту самую, в которой графа «цена» была пустой. Не «даром». Не «бесплатно». Пустой. Он держал её так, как держат то, что нельзя потерять, но что нельзя и удержать. Он держал её так, как держат поручень — потому что поручень был единственным, что осталось от мира, в котором всё можно было измерить.

Антип был торговцем.

Двадцать лет он взвешивал всё — хлеб, гвозди, слово, человека. Двадцать лет он называл цену — всему, что видел, всему, что трогал, всему, что продавал. Двадцать лет он жил в мире, где у всего была цена — и где то, у чего цены не было, не существовало. И теперь он летел над городом, над бездной, над тем, чего нельзя было измерить, — и в этом полёте не было ни одной графы, в которую можно было бы вписать то, что происходило.

Он бледнел не от страха высоты.

Он бледнел от страха потери контроля. От страха того, что мир, который он знал, — мир, где всё имело цену, где всё можно было взвесить, где всё можно было продать, — рушился. Рушился не под ударами, не под жаром, не под зелёным светом. Рушился тихо. Рушился от того, что перо лежало на решётке и светило тусклым, ровным, безжизненным для торговца светом. Рушился от того, что Капитоныч сидел на носу и улыбался. Рушился от того, что Силантий стоял на борту и смотрел в бездну с восторгом. Рушился от того, что Марина держала Ивана за руку и не записывала.

Антип держался за накладную.

И в этой накладной, в пустой графе «цена», было всё, что осталось от его мира. Не цена — пустота. Не число — тире. Не то, что можно взвесить, — то, что можно только нести.

Капитоныч сидел на носу.

Слепой. Лицом туда, где было солнце. Ладонь его лежала поперёк потока — того потока, который шёл через небо и который он читал так, как двадцать лет читал графы. Его глаза были открыты. Слепые глаза — открыты. И в этих глазах не было ничего: ни зрачков, ни радужки, ни белка. Просто — глаза. Просто — открытые. Просто — те, которые не видят.

Но он видел.

Он видел не глазами — тем, что осталось от пепла. Тем, что не вошло. Тем, что видело, когда глаз не было. Он видел дорогу — ту самую, которую описал Марине в тот вечер, когда пришёл на Огородную и сказал: «Я съел пепел. Я вижу дорогу. Без меня заблудитесь». Он видел облако — не «облако», а то облако, которое висит над перевалом с подветренной стороны, потому что ему там тепло. Он видел вихрь — тот, что встаёт за перевалом между двумя грядками, когда солнце на востоке и земля холодна. Он видел ложбину — ту, по которой птицы шли бы, если бы птицы ходили по небу.

И он улыбался.

Это была не та улыбка, которой улыбаются, когда шутят. Не та, которой улыбаются, когда радуются. Это была улыбка человека, который обрёл зрение. Улыбка того, кто двадцать лет жил в темноте — не в темноте слепоты, а в темноте конторских граф, в темноте описей, в темноте того, что можно было измерить, — и кто теперь, потеряв глаза, обрёл то, чего не видел никогда. Он видел дорогу. Он видел небо. Он видел то, что было за небом. И он улыбался.

Его рот был приоткрыт. Он ловил ветер — тот ветер, который шёл с востока, тот ветер, который пах не копотью, а снегом, лесом, чем-то далёким. Он ловил его ртом, как ловят то, что нельзя удержать, но что можно почувствовать. И в этом ловлении было то, чего не было ни в одной графе: вкус. Вкус свободы. Вкус дороги. Вкус того, что — впереди.

Корзина поднималась.

Двор Долгопольцевых стал маленьким — точкой, в которой стояли двое. Крыша дома стала крышей, которую видно сверху, — и на этой крыше стояли Ефим и Пелагея, и не махали, и в этом не-махании было всё, что нужно было знать о них: они не провожали. Они — ждали. Ждали не возвращения — ждали того, что будет. Ждали того, что сын дойдёт. Ждали того, что свет вернётся. Ждали того, что — весной.

Огородная стала нитью — тонкой, которая шла от центра к краю. Площадь стала сердцем — тем местом, где сходились все дороги, где стоял щит, который держал, где лежали осколки клетки, которые никто не растаскивал, где стоял царь — один, без свиты, без ковра, пешком, — и смотрел в небо. Завод стал чёрным пятном — памятью о том, что было. Кромка стала золотым свечением — тем, которое шло из-под земли и которое с высоты было видно как маленькое, но живое пятно в центре мёртвого города.

И — город стал решёткой.

С высоты было видно то, чего не было видно с земли: город был построен как решётка. Прямые улицы, прямые переулки, прямые проспекты. Всё — под линейку. Всё — по графе. Всё — так, как строило государство, которое двадцать лет считало, что человек — это клетка, которую нужно вписать в общий узор. Город был клеткой — не потому что в нём жили, а потому что его так строили. Город был клеткой — и они из неё улетели.

Но с высоты было видно и другое.

С высоты было видно, что в этой решётке были живые нити. Дороги, которые шли не по линейке, — те, которые протоптали люди, те, которые не были на казённых картах, те, которые вели от дома к дому, от двора к двору, от колодца к колодцу. Эти нити шли сквозь решётку, как жилки шли сквозь камень, — и в этом было всё: решётка была построена, но жизнь — нет. Жизнь шла сквозь решётку. Жизнь текла. Жизнь — была.

Иван смотрел на восток.

Он не смотрел вниз — он смотрел на восток. Туда, где за перевалом, за облаками, над полем, где лежал тонкий, инейный свет, — стояла бледная птица. И ждала. Не спасения. Света. Своего. Он смотрел на восток — и в этом смотре было то, что он знал телом, что он знал тем третьим, что он знал с той ночи, когда перо легло на ладонь: перо нужно не вернуть. Его

нужно отдать. Теплотой. Той, которой легла она — на поле за перевалом, тонко, как иней. Иней собирает солнце той же теплотой, которой лёг. Не руками. Не инструментом. Теплотой.

А теплота — не у него.

Теплота — с ним.

Она идёт рядом. Как идут те, кто отдал: Пелагея — квашнёй, Ефим — тетрадь, Антип — варежкой, Марина — листом, Силантий — ладонью, которая отнялась, город — молчанием. Теплота — не то, что у одного человека. Теплота — то, что есть у тех, кто отдал.

И в этом — весь расчёт, который Марина не смогла сделать, потому что расчёт был не в ней.

Сцена 2. Столица сверху. Город-решётка

Корзина летела над городом.

Медленно. Тихо. Без рывка. Ветер с востока — тот самый, которого ждали, тот самый, который Ефим считал в тетради, тот самый, который Капитоныч читал ладонью, сидя на носу, — ветер нёс корзину ровно, как несёт вода то, что не сопротивляется. Город под ними разворачивался — медленно, как разворачивается карта, которую наконец развернули полностью.

Трубы.

Силантий смотрел на трубы — и видел то, чего не видел с земли. С земли трубы были угрозой. С земли трубы были теми, из которых шёл дым, из которых шло гудение, из которых шло то, что поднимало смены и опускало смены. С земли трубы были хозяевами города — теми, кто говорил, когда вставать, когда идти, когда стоять. С земли трубы были — Кошечем.

С высоты трубы были — кирпичом.

Остывшим. Мёртвым. Серым. Они стояли — расколотые, с чёрными провалами топок, — как стоят старики с открытыми ртами, у которых больше нечего сказать. Они не дымили. Они не гудели. Они не приказывали. Они просто стояли — и в этом стоянии было то, чего не было в них никогда: молчание. Молчание, которое было не пустотой, а покоем. Молчание, которое было не смертью, а сном. Молчание, которое было — концом.

Силантий смотрел на трубы — и не чувствовал ничего. Ни ненависти, ни страха, ни того, что он чувствовал к ним раньше. Просто — кирпич. Просто — то, что было. Просто — то, что осталось.

Золотое свечение.

Из-за забора Гордеева — того самого забора, который он поставил вокруг колодца, того самого забора, который был не для света, а для тех, кто будет брать, — шло золотое свечение. Оно было видно с высоты как маленькое, но живое пятно в центре мёртвого города. Оно

не било вверх столбом, не горело, не жгло. Оно просто — светило. Тихо. Ровно. Без спроса. Целиком.

И Силантий смотрел на это свечение — и видел то, чего не видел с земли. С земли свет был чудом. С земли свет был тем, что пришло снизу, из-под земли, из колодца, из того, что было Кошечевым. С земли свет был — даром. С высоты свет был — сердцем. Сердцем города, которое билось ровно, тихо, без спроса. Сердцем, которое не приказывало — а просто было. Сердцем, которое не брало — а отдавало. Сердцем, которое — жило.

Силантий смотрел на золотое свечение — и в его восторге было что-то новое. Не радость победы — радость узнавания. Он узнавал то, что защищал. Он видел то, за что стоял. Он видел то, что было — домом.

Руины завода.

Чёрное пятно — выгоревшее, мёртвое, то, что осталось от того, что было. Завод был не просто заводом. Завод был — местом, где ковали держатели. Завод был — местом, где делали то, что брало. Завод был — местом, где руки Ефима, руки Ивана, руки Савелия делали то, что не должно было делать. Завод был — памятью.

И с высоты завод был — просто руинами. Чёрными, мёртвыми, тихими. Руинами, которые не гудели, не дымили, не приказывали. Руинами, которые просто лежали — и в этом лежании было то, что бывает у всего, что кончилось: покоем.

Силантий смотрел на завод — и не чувствовал ничего. Ни злобы, ни горя, ни того, что он чувствовал к нему раньше. Просто — руины. Просто — то, что было. Просто — то, что осталось.

Город-решётка.

И тогда Силантий увидел город целиком.

Он увидел то, чего не видел никогда, — потому что с земли город был клеткой, а с высоты город был — узором. Он видел прямые улицы — те, которые построили по линейке, те, которые шли от завода к заводу, от смены к смене, от гудка к гудку. Он видел прямые переулки — те, которые не предусматривали, что людям понадобится бежать в разные стороны. Он видел прямые проспекты — те, которые вели от дворца к площади, от площади к заводу, от завода к тому, что было концом города.

Это была решётка.

Но он видел и другое.

Он видел живые нити — те, которые не были на казённых картах. Он видел дороги, которые протоптали люди, — от дома к дому, от двора к двору, от колодца к колодцу. Он видел тропинки, которые шли сквозь решётку, как жилки шли сквозь камень. Он видел реку, которая текла через город, — ту самую реку, которую он знал с детства, но которую никогда не видел целиком. Он видел мосты, которые соединяли берега. Он видел площадь, которая была не площадью, а сердцем — тем местом, где сходились все дороги.

Он видел людей.

Не толпу — не ту толпу, которая бежала в разные стороны, которая давилась в переулках, которая умирала под ногами. Он видел людей — по одному, по двое, у калиток, у дверей, у колодцев. Они стояли. Они просто стояли — там, где стояли всегда. И в этом стоянии было то, чего не было ни в одной клетке: присутствие. Живое. Рядом.

Силантий смотрел на город — и впервые за всю книгу улыбнулся.

Это была не та улыбка, которой улыбаются, когда побеждают. Не та, которой улыбаются, когда всё кончилось. А та, которой улыбаются, когда видят то, чего не видели никогда, — и понимают, что это было всегда. Город был не клеткой. Город был — домом. Домом, который они покидали. Домом, к которому они вернутся. Домом, который они несли с собой.

— Смотри, — сказал Силантий.

Он сказал это тихо. Не Ивану, не Марине, не Антипу, не Капитонычу. Он сказал это себе — тем голосом, которым богатыри говорят то, чего не говорят обычно. Тем голосом, который не объясняет, а свидетельствует. Тем голосом, который — есть.

— Смотри, — повторил он. — Город — не клетка. Город — узор.

И в этом «узор» было всё, что он понял. Всё, что он видел. Всё, что он знал. Город был не решёткой, в которую вписали жизнь. Город был — тканью, которую жизнь ткала сквозь решётку. Город был — не тем, что построили. Город был — тем, что жило.

Антип услышал это — и не ответил.

Он стоял спиной к борту, лицом к корзине, и держался за накладную. Он не смотрел вниз. Он не мог смотреть вниз. Он слышал слова Силантия — и в этих словах было то, чего он не понимал. Узор. Не решётка. Не клетка. Не то, что можно измерить. Не то, что можно взвесить. Не то, что можно продать.

Антип был торговцем.

Он знал, что такое узор. Узор — это то, что на ткани. Узор — это то, что на ковре. Узор — это то, что можно продать. Узор — это то, что имеет цену. Но Силантий говорил не о том узоре. Силантий говорил о другом. О том, у которого не было цены. О том, который нельзя было взвесить. О том, который нельзя было продать.

И Антип бледнел.

Он бледнел не от страха высоты. Он бледнел от страха потери. От страха того, что мир, который он знал, — мир, где всё имело цену, где всё можно было взвесить, где всё можно было продать, — рушился. Рушился тихо. Рушился от того, что Силантий улыбался. Рушился от того, что Капитоныч улыбался. Рушился от того, что Марина держала Ивана за руку и не записывала. Рушился от того, что город был не клеткой, а узором.

Антип держался за накладную.

И в этой накладной, в пустой графе «цена», было всё, что осталось от его мира. Не цена — пустота. Не число — тире. Не то, что можно взвесить, — то, что можно только нести.

Сцена 3. Перо-ночник. Ночной свет

Корзина летела над городом — и город оставался позади.

Он не исчезал — он уменьшался. Медленно, тяжело, как уменьшается то, что уходит. Сначала — кварталы стали пятнами. Потом — пятна стали точками. Потом — точки стали тем, что видно только с высоты: узором. И потом — узор стал тем, что было за кормой: памятью.

А в корзине — было тихо.

Это была не та тишина, что стояла в амбаре в первую ночь. Не та, что легла на город после колыбельной из колодца. Не та, что была на крыше, когда Ефим сидел со второй тетрадью. Это была тишина — другая. Тишина, в которой слышно, как дышит перо. Тишина, в которой слышно, как дышат те, кто рядом. Тишина, в которой слышно, как дышит — дорога.

Перо лежало на решётке.

Не в гнезде — гнездо осталось в амбаре, раскрытое, пустое, две половины хрустала, которые никто не собрал. Не в цепи — цепь осталась на крюках, снятая с каркаса, сложенная аккуратно, как складывают упряжь, когда лошадь продали. Не в руке — рука Ивана лежала рядом, на волос от меди, свидетельствуя. Перо лежало на решётке — на той медной решётке, которую Марина поставила под брюхом корзины. На той решётке, которая была не клеткой, а — открытостью. На той решётке, через которую перо видели все и которая не запирала ни для кого.

Перо светило.

Тускло. Ровно. Тем золотым светом, который не жёг, не грел, не приказывал. Тем светом, который просто — был. Тем светом, который лежал на лицах — ровно, без спроса, целиком. Тем светом, который был — ночником.

Это надо записать ровно, потому что в этом «ночник» было всё. Перо не было солнцем — оно не освещало город, не жгло тьму, не разгоняло ночь. Перо не было огнём — оно не грело, не пекло, не жгло. Перо было — ночником. Тем маленьким, тусклым, ровным светом, который горит в комнате, где кто-то спит. Тем светом, который не для того, чтобы видеть, — для того, чтобы не бояться. Тем светом, который не для того, чтобы идти, — для того, чтобы быть. Тем светом, который — есть.

И от этого света в корзине было тепло.

Не жарко — тепло. Тем теплом, которое бывает от печи, у которой сидят не греться, а быть. Тем теплом, которое бывает от ладони, которую положили на плечо. Тем теплом, которое бывает от того, что — рядом.

Иван сидел у пера.

Он не держал его. Он не свидетельствовал. Он просто — сидел. Рядом. На волос. Так, как сидел у меди в подземелье. Так, как сидел у гнезда в амбаре. Так, как сидел у мёртвой птицы, которую нёс через город. Так, как сидел — всегда. Он смотрел на перо — и в этом смотре было то, что он знал телом, что он знал тем третьим, что он знал с той ночи, когда перо легло на ладонь: перо — не его. Он — тот, кто несёт. И теперь он нёс его не в руках, а в корзине. Это было легче — потому что руки были свободны. Это было труднее — потому что руки были пусты.

Марина сидела рядом.

Она держала Ивана за руку. Не для поддержки — он не нуждался в поддержке. Не для того, чтобы удержать — удержать его было нельзя, и она это знала. Она держала его за руку, потому что хотела чувствовать его рядом. Потому что рука — это то, что есть. Потому что тепло — это то, что не надо доказывать. Потому что «я здесь» — это не слова. Это — ладонь. Ладонь в ладони. Живое в живом.

Она смотрела на перо — и думала о том, что оно — как её книжка. Не для того, чтобы светить. Не для того, чтобы жечь. Не для того, чтобы приказывать. Для того, чтобы помнить. Для того, чтобы быть. Для того, чтобы — рядом. И в этом смотре было то, чего она не записывала, потому что это нельзя было записать: перо — это не измерение. Перо — это определение. Перо — это то, что — есть.

Антип смотрел на перо.

Он смотрел на него так, как смотрит торговец на товар, который не может оценить. Он смотрел на него так, как смотрит тот, кто двадцать лет взвешивал всё, — на то, что нельзя взвесить. Он смотрел на него так, как смотрит тот, кто двадцать лет называл цену, — на то, что не имеет цены.

И это его успокаивало.

Это надо записать ровно, потому что это было странно, потому что это было ново, потому что этого не было никогда. Антип смотрел на перо — и успокаивался. Не потому что перо было красивым. Не потому что перо было тёплым. Не потому что перо было живым. А потому что перо было — не товаром. Потому что перо было — тем, что нельзя продать. Потому что перо было — тем, у чего не было цены.

И в этом «не было цены» было всё.

Антип двадцать лет жил в мире, где у всего была цена. Двадцать лет он взвешивал, оценивал, продавал. Двадцать лет он знал, что всё, у чего нет цены, — не существует. И теперь он летел над бездной, над тем, что нельзя измерить, — и смотрел на перо, которое нельзя было взвесить, — и успокаивался. Потому что перо было — живым. Потому что перо было — настоящим. Потому что перо было — тем, что — есть.

Силантий стоял на борту.

Он не смотрел на перо. Он смотрел вперёд — туда, где за перевалом, за облаками, над полем, где лежал тонкий, инейный свет, — стояла бледная птица. И ждала. Не спасения. Света. Своего. Он смотрел вперёд — и в этом смотреии было то, что он знал телом, что он знал тем третьим, что он знал с той ночи, когда встал стеной у ратуши: богатырь не тот, кто побеждает. Богатырь — тот, кто стоит. И он стоял — на борту, лицом наружу, туда, где заканчивалась корзина и начиналось небо. За бортом — он. За бортом — небо. За бортом — бездна.

И он улыбался.

Капитоныч сидел на носу.

Слепой. Лицом туда, где было солнце. Ладонь его лежала поперёк потока — того потока, который шёл через небо и который он читал так, как двадцать лет читал графы. Его глаза были открыты. Слепые глаза — открыты. И в этих глазах не было ничего: ни зрачков, ни радужки, ни белка. Просто — глаза. Просто — открытые. Просто — те, которые не видят.

Но он видел.

Он видел дорогу — ту самую, которую описал Марине в тот вечер, когда пришёл на Огородную и сказал: «Я съел пепел. Я вижу дорогу. Без меня заблудитесь». Он видел облако — не «облако», а то облако, которое висит над перевалом с подветренной стороны, потому что ему там тепло. Он видел вихрь — тот, что встаёт за перевалом между двумя грядками, когда солнце на востоке и земля холодна. Он видел ложбину — ту, по которой птицы шли бы, если бы птицы ходили по небу.

И он улыбался.

Его рот был приоткрыт. Он ловил ветер — тот ветер, который шёл с востока, тот ветер, который пах не копотью, а снегом, лесом, чем-то далёким. Он ловил его ртом, как ловят то, что нельзя удержать, но что можно почувствовать. И в этом ловлении было то, чего не было ни в одной графе: вкус. Вкус свободы. Вкус дороги. Вкус того, что — впереди.

Сцена 4. Ветер. Свобода. Капитоныч ведёт

Корзина вошла в поток.

Это было не так, как на земле. На земле ветер был тем, что сносит шапку, что хлопает ставнями, что гонит пыль по мостовой. На земле ветер был тем, что можно было переждать — в сенях, в погребе, за стеной. На земле ветер был — помехой.

В небе ветер был — дорогой.

Он шёл с востока — тот самый, которого ждали, тот самый, который Ефим считал в тетради, тот самый, который Капитоныч читал ладонью, сидя на носу. Он шёл ровно, мощно, без порывов, — как идёт вода в реке, которая знает, куда течёт. Он пах не копотью, не дымом,

не тем, что было городом. Он пах — снегом. Лесом. Чем-то далёким. Чем-то, чего не было в городе двадцать лет. Чем-то, что было — свободой.

И корзина вошла в этот поток.

Она не сопротивлялась. Она не боролась. Она не шла против ветра — она шла с ветром. Она стала его частью — как становится частью реки то, что в неё попадает. Она неслась — ровно, тихо, без рывка, — и в этом несении было то, чего не было ни в одном указе, ни в одной графе, ни в одном слове: свобода.

Капитоныч командовал.

Он сидел на носу — слепой, лицом туда, где было солнце, — и ладонь его лежала поперёк потока. Того потока, который шёл через небо и который он читал так, как двадцать лет читал графы. Он читал ветер — не глазами, не ушами, не тем, что было у других. Он читал его — тем, что осталось от пепла. Тем, что не влезло. Тем, что видело, когда глаз не было.

И он командовал.

Ровно. Конторским тоном. Тем, которым докладывают о недостатке — слово в слово, строка в строку, без того, что в докладах не говорят.

— Вверх, — сказал он. — На два градуса. Там — восходящий поток.

Марина услышала. Её рука легла на рычажок — на тот, который был подачей. Она открыла его — на волос, на два. Жар пошёл в решётку — туда, где лежало перо. Перо отдало — тепло пошло вверх, под полотно, под рогожу, под осколки. Полотно натянулось. Корзина пошла вверх — на два градуса, ровно, тихо, как идёт то, что не сопротивляется.

— Левее, — сказал Капитоныч. — На румб. Там — ложбина.

Марина услышала. Её рука легла на другой рычажок — на тот, который был отводом. Она повернула его — на волос, на два. Жар пошёл в борта — в осколки, в полотно, в то, что держало свет. Корзина повернула — на румб, ровно, тихо, как поворачивает то, что не борется.

— Облако пропустить, — сказал Капитоныч. — За ним — вихрь. В вихре — не поворачивать.

Марина услышала. Её рука легла на третий рычажок — на тот, который был размыкателем. Тот, о котором она не сказала Ивану в ту ночь, когда перо кричало. Тот, который выпускает перо в воздух, если перо перегреется. Она не дёрнула его. Она положила руку рядом — на волос, на два. Так, как лежит рука того, кто решил не командовать.

И корзина прошла облако.

Оно было — белое. Мягкое. Тёплое. То самое облако, которое висит над перевалом с подветренной стороны, потому что ему там тепло. Оно расступилось — тихо, вежливо, как расступается вода перед тем, кто в ней родился. И за ним — был вихрь.

Вихрь.

Он встал между двумя грядами — там, где солнце на востоке и земля холодна. Он был — не стеной. Не преградой. Не тем, что останавливает. Он был — потоком. Крутящимся, мощным, тёплым. Он шёл вверх — туда, где было небо. Он шёл вверх — туда, где было солнце. Он шёл вверх — туда, где было то, что — впереди.

Капитоныч сказал:

— В вихре — не поворачивать.

И корзина вошла в вихрь.

Она не сопротивлялась. Она не боролась. Она не шла против — она шла с. Она стала его частью — как становится частью реки то, что в неё попадает. Она кружилась — ровно, тихо, без рывка, — и в этом кружении было то, чего не было ни в одном указе, ни в одной графе, ни в одном слове: свобода.

Иван держал перо.

Не руками — ладонью. Ладонь его лежала на волос от кромки решётки — той медной решётки, на которой лежало пёрышко. Обгоревшее. Серое. Чёрное по краю. Он не держал его. Он свидетельствовал. Он чувствовал, как перо отдаёт тепло — ровно, тихо, без спроса. Он чувствовал, как это тепло идёт вверх — под полотно, под рогожу, под осколки. Он чувствовал, как корзина идёт — вверх, вперёд, туда, где было то, что — впереди.

И в этом чувствовании было то, что он знал телом, что он знал тем третьим, что он знал с той ночи, когда перо легло на ладонь: перо — не его. Он — тот, кто несёт. И теперь он нёс его не в руках, а в корзине. Это было легче — потому что руки были свободны. Это было труднее — потому что руки были пусты. Но в этой пустоте было то, чего не было в полноте: свобода. Свобода того, кто отдал. Свобода того, кто — отпустил.

Марина держала Ивана за руку.

Она чувствовала его пульс — ровный, тихий, тот самый, который бился в такт с гудением пера. Она чувствовала его тепло — то самое, которое шло от ладони, от руки, от того, что — рядом. Она чувствовала его — и в этом чувствовании было то, чего она не записывала, потому что это нельзя было записать: любовь. Не та, которая держит. Не та, которая командует. Не та, которая измеряет. А та, которая — рядом. Та, которая — есть. Та, которая — отпускает.

Антип держался за накладную.

Он стоял спиной к борту, лицом к корзине, и держался за накладную — ту самую, в которой графа «цена» была пустой. Не «даром». Не «бесплатно». Пустой. Он не смотрел вниз. Он не мог смотреть вниз. Он смотрел на перо — на то, что нельзя было взвесить, — и в этом смотре было то, чего он не понимал, но что чувствовал телом: перо — не товар. Перо — не то, что можно продать. Перо — не то, что имеет цену. Перо — то, что — есть.

И в этом «есть» было всё.

Антип двадцать лет жил в мире, где у всего была цена. Двадцать лет он взвешивал, оценивал, продавал. Двадцать лет он знал, что всё, у чего нет цены, — не существует. И теперь он летел над бездной, над тем, что нельзя измерить, — и держался за накладную, в которой графа «цена» была пустой. И в этой пустоте было то, чего не было в полноте: свобода. Свобода того, кто отдал. Свобода того, кто — отпустил.

Силантий стоял на борту.

Он смотрел вперёд — туда, где за перевалом, за облаками, над полем, где лежал тонкий, инейный свет, — стояла бледная птица. И ждала. Не спасения. Света. Своего. Он смотрел вперёд — и в этом смотреии было то, что он знал телом, что он знал тем третьим, что он знал с той ночи, когда встал стеной у ратуши: богатырь не тот, кто побеждает. Богатырь — тот, кто стоит. И он стоял — на борту, лицом наружу, туда, где заканчивалась корзина и начиналось небо. За бортом — он. За бортом — небо. За бортом — бездна.

И он улыбался.

Капитоныч сидел на носу.

Слепой. Лицом туда, где было солнце. Ладонь его лежала поперёк потока — того потока, который шёл через небо и который он читал так, как двадцать лет читал графы. Его глаза были открыты. Слепые глаза — открыты. И в этих глазах не было ничего: ни зрачков, ни радужки, ни белка. Просто — глаза. Просто — открытые. Просто — те, которые не видят.

Но он видел.

Он видел дорогу — ту самую, которую описал Марине в тот вечер, когда пришёл на Огородную и сказал: «Я съел пепел. Я вижу дорогу. Без меня заблудитесь». Он видел облако — то самое облако, которое они только что прошли. Он видел вихрь — тот самый вихрь, в котором они сейчас кружились. Он видел ложбину — ту самую ложбину, по которой птицы шли бы, если бы птицы ходили по небу.

И он улыбался.

Его рот был приоткрыт. Он ловил ветер — тот ветер, который шёл с востока, тот ветер, который пах не копотью, а снегом, лесом, чем-то далёким. Он ловил его ртом, как ловят то, что нельзя удержать, но что можно почувствовать. И в этом ловлении было то, чего не было ни в одной графе: вкус. Вкус свободы. Вкус дороги. Вкус того, что — впереди.

Сцена 5. Финал. Курс на восток. Тире

Корзина летела на восток.

Солнце садилось за перевалом — медленно, тяжело, как садится то, что уходит. Небо было — не багряное. Не зелёное. Не золотое. Просто — небо. Серое на западе, которое стано-

вилось синим, которое становилось чёрным. И звёзды — те самые звёзды, которые город не видел двадцать лет, — проступали на этом небе. По одной. По две. По сотне.

Внизу — не было города.

Внизу — были леса. Тёмные, густые, те, которые не знали ни гудков, ни смен, ни того, что приказывает. Внизу — были поля. Пустые, осенние, те, которые ждали весны. Внизу — были реки. Тонкие, серебряные, те, которые текли туда, куда текли, — без спроса, без разрешения, без того, что велит. Внизу — была земля. Та самая, которая не была Кощеевой. Та самая, которая не была ничьей. Та самая, которая — была.

Впереди — был перевал.

Тёмная гряда на фоне заката. Та самая, за которой начиналось поле. Поле, где лежал тонкий, инейный свет. Поле, где стояла бледная птица. Поле, где ждала — не спасения. Света. Своего.

Иван стоял на носу.

Рядом — Капитоныч. Слепой. Лицом туда, где солнце. Ладонь поперёк потока. Он читал воздух — так, как двадцать лет читал графы. И — командовал. Ровно. Конторским тоном. Тем, которым докладывают о недостатке — слово в слово, строка в строку.

— Вверх. Левее. Облако пропустить, за ним — вихрь.

Марина стояла у рычажков.

Рука на третьем — на том самом, о котором она не сказала Ивану в ту ночь, когда перо кричало. Теперь она говорила о нём вслух. Не шёпотом. Не тайно. Прямо.

— Если перо перегреется — я дёрну. Когда нельзя не дёрнуть.

Антип стоял у борта.

С накладной. В графе «цена» — тире. Он не считал. Он вписывал. Вписывал то, что видел: облака, вихрь, свет. И внизу — строку, которую никто не читал вслух: «Дорога. Цены нет.»

Силантий стоял на борту.

Лицом наружу. Меч на спине. Туда, откуда доставать долго. Он не вынимал меч. Богатырь не тот, кто побеждает. Богатырь — тот, кто стоит. И он стоял там, где заканчивался борт.

Перо гудело.

Тихо. Ровно. «Я здесь». Тем самым. Только «здесь» теперь — небо. И в этом «здесь» — всё: и подземелье, и амбар, и гнездо, и цепь, и «я здесь — держу», и «я здесь — смотрю», и «я здесь — ты уходишь», и «я здесь — провожаю». Все ступени. Все — в одной ноте.

Корзина шла над облаками.

Внизу — город. Маленький. Живой. Свет из-под земли лежал на нём ровно, без спроса, целиком. А впереди — перевал. За перевалом — поле. Над полем — бледная птица. И ждала. Не спасения. Света. Своего.

Иван смотрел вперёд.

Он не знал, успеет ли. Не знал, хватит ли теплоты. Не знал, вернётся ли. Он знал только одно — то, что знал с той ночи, когда перо легло на ладонь: перо нужно не вернуть. Его нужно отдать. Теплотой. Той, которой легла она — на поле за перевалом, тонко, как иней. Иней собирает солнце той же теплотой, которой лёг. Не руками. Не инструментом. Теплотой.

А теплота — не у него.

Теплота — с ним.

Она идёт рядом. Как идут те, кто отдал: Пелагея — квашнёй, Ефим — тетрадью, Антип — варёжкой, Марина — листом, Силантий — ладонью, которая отнялась, город — молчанием. Теплота — не то, что у одного человека. Теплота — то, что есть у тех, кто отдал.

И в этом — весь расчёт, который Марина не смогла сделать, потому что расчёт был не в ней.

Он сказал одно слово.

— Идёт.

Это не было описанием. Не было обещанием. Не было надеждой. Это было — акт. Он идёт. И в этом «идёт» — вся его суть. Он — тот, кто идёт. И он ведёт с собой всех.

Марина открыла книжку.

На пустой странице — той, после которой ничего не было, потому что всё, что было, уже было вписано, — она написала одно слово. Не измерение. Не определение. Не строку с тире. Слово:

«Идёт».

И закрыла книжку — не торопясь, как закрывают книгу, которую дочитали до того места, где дальше пишет не автор, а время.

В поле за перевалом — иней лежал тонко.

Так, как лежит то, что легло той теплотой, которой легло: не коркой, не коростой, не тем, что убивает траву, — тем, что ложится на всё живое ровно, как одеяло, и держит то, что под ним, до той минуты, когда солнце возьмёт своё обратно той же теплотой. И поле это не было мёртвым. Поле это было — ждущим.

И бледная птица подняла голову.

Второй раз за утро — тем третьим, без звука. По дороге, которая шла от города к перевалу, шёл тот, кто умеет отдавать до конца. Она не слышала шагов. Она не видела фигуры — полдня пути лежало между ними, лес, камень, всё, что не видно. Она знала.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.